

Надежда Тэффи

# Авантюрный роман



Часть сборника  
О любви (сборник)



Надежда Тэффи  
**Авантюрный роман**

«Public Domain»

## **Тэффи Н.**

Авантюрный роман / Н. Тэффи — «Public Domain»,

«Шофер гнал вовсю, как ему и было приказано. Тяжелая машина, жужжа, как гигантский шмель, обгоняла бесконечную вереницу автомобилей, возвращавшихся в Париж. Пассажиры – два манекена модного дома «Манель» и управляющий этого же дома мосье Брюнето – напряженно молчали. Молчала манекен Наташа (коммерческий псевдоним Маруси Дукиной), потому что злилась на неудачную поездку, на дождь в Довиле, на скуку и на манекена Вэра (коммерческий псевдоним француженки Люси Боль), которая стала разводить драму с мосье Брюнето. Нашла тоже время!..»

## Содержание

1	5
2	8
3	12
4	15
5	17
6	19
7	24
8	26
9	30
10	33
11	37
12	41
13	45
14	47
15	51
16	55
17	58
18	60
19	64
20	66
21	68
22	71
23	74
24	77

# Надежда Тэффи

## Авантюрный роман

### 1

*«Pourquoi occuper le Tribunal  
de ce chetif b... la», – cria une  
voix de la Montagne...*

***La Revolution.  
Louis Madelin<sup>1</sup>***

*Кирджали был родом болгар.*

***А. Пушкин***

Шофер гнал вовсю, как ему и было приказано. Тяжелая машина, жужжа, как гигантский шмель, обгоняла бесконечную вереницу автомобилей, возвращавшихся в Париж.

Пассажиры – два манекена модного дома «Манель» и управляющий этого же дома мосье Брюнето – напряженно молчали.

Молчала манекен Наташа (коммерческий псевдоним Маруси Дукиной), потому что злилась на неудачную поездку, на дождь в Довиле, на скуку и на манекена Вэра (коммерческий псевдоним француженки Люси Боль), которая стала разводить драму с мосье Брюнето. Нашла тоже время!

Вэра поджимала губы и отворачивалась от Брюнето, который, как будто в чем-то виноватый, лебезил перед ней, прикрывая ей ноги пледом, и что-то шептал.

«Ссорятся, – думала Наташа. – Что-то она из него выматывает».

Брюнето приходилось, по-видимому, туго. Подъезжая к Парижу, он снял шляпу, и Наташа с удивлением увидела, что плешивый с начесом лоб его был совсем мокрым.

– Милая Наташа, – сказал он. – Мы, конечно, пообедаем все вместе. Мне только надо на одну минутку заехать... Вэра поедет со мной... надо урегулировать... вообще подсчитать. Милая Наташа, мы с Вэра сейчас выйдем, а шофер отвезет вас на Монмартр, он знает куда. Возьмите бутылку шампанского, если хотите, танцуйте и ждите нас. Я вас очень прошу!

Он обращался к Наташе, но смотрел на Вэра и при словах «очень прошу» нагнулся и прижался лицом к руке Вэра.

Та молча закрыла глаза.

Он схватил телефонную трубку и сказал шоферу:

– Авеню Монтень. Ко мне.

Был уже десятый час, когда Наташа подъезжала к ресторану.

– Возвращайтесь на авеню Монтень, – сказала она шоферу.

В подъезд одновременно с ней входил высокий молодой человек. Он торопливо пропустил ее вперед, с тихим восклицанием благоговейного удивления.

Поднимаясь по лестнице, Наташа видела в огромном зеркале томную изящную даму в серебристо-белом манто, отделанном черной лисицей. На длинной гибкой шее две нитки розового жемчуга. Крупные черные локоны плотно облегли затылок.

– Господи! До чего же я красива! Как странно, что дураку Брюнето нравится пухлая Вэра!

Она села за столик, заказала вино и стала ждать.

---

<sup>1</sup> «Почему надо занимать Трибунал этим ничтожеством», – раздался голос с Горы. «Революция». Л. Мадлен (фр.)

Чувствовала себя спокойной, довольной, богатой. Главное – хорошо, что спокойной. Можно себе представить, какую сейчас истерику закатывает Вэра несчастному Брюнето. А в понедельник, когда патронша Манельша узнает обо всех штучках (уж, конечно, шофер насплетничает!), обрушится на бедную его плешивую голову такая буря, из которой ему живому не выскочить.

Скучно все это, нудно.

Наташа пила маленькими глотками вино, курила, слушала воющий джаз.

– Хорошо быть свободной!

За соседним столиком уселся тот самый молодой человек, которого она встретила при входе. Место, очевидно, далось ему не даром. Он что-то долго хлопотал и спорил с метрдотелем.

Наташа поняла, что это делается из-за нее, и украдкой следила за соседом.

Он был еще очень молод, лет двадцати пяти, не больше. Белокурый, сероглазый, с пухлыми щеками и надутой верхней губой, как это бывает у детей, когда они что-нибудь очень внимательно делают. Он медленно тянул вино из стакана, закидывая голову, и беспокойно глядел на Наташу. Видимо, хотел заговорить и не знал, как за это приняться.

Но вот зажглись в зале красные лампочки, погас верхний свет и начался «номер». Две очень похожие друг на друга полуголые смуглые танцовщицы плясали фантастический танец. Плясали больше на руках, чем на ногах. Бриллиантовые каблукы сверкали в воздухе.

Публика заплодировала.

Вихля боками, танцовщицы пробирались между столиками к выходу.

– Шурка! – вскрикнула Наташа, поймав за тюлевую юбку ту плясунью, что была поменьше.

– Наташка! Ты как сюда попала?

– Тише! Пусть думают, что я богатая англичанка. Жду своих. Ты давно здесь танцуешь?

– Вторую неделю. У меня новая сестра. Еще больше на меня похожа, чем прошлогдняя.

Хорош наш номер? Ну, я бегу. Заходи!

Она убежала. За ней следом, роняя стулья, кинулся молодой человек с надутой губой. Вернулись вместе. Шурка, запыхавшаяся, пролепетала на чудовищном французском языке:

– Мадам, вуаси мосье ве презенте...<sup>2</sup>

Прыснула и убежала.

Молодой человек растерянно раскланивался, приглашая танцевать.

Танцевал он изумительно.

«Уж не профессионал ли?» – подумала Наташа.

И лицо у него вблизи было совсем славное. Детское – веселое и доброе и слегка смущенное.

Говорил по-французски с акцентом.

– Вы не француз? – спросила Наташа.

– Угадайте! – ответил он.

– Вы... – начала она и остановилась.

Кто он, действительно?

– А ваше имя?

Он помолчал, точно придумывал.

– Гастон Люкэ.

– Значит, все-таки француз?

Он опять ответил «угадайте» и прибавил:

– А я сразу узнал, что вы англичанка.

---

<sup>2</sup> Мадам, представляю вам господина... (искаж. фр.)

– Почему?

– По вашему акценту, по вашей внешности и по вашим жемчугам.

Наташа улыбнулась.

– Это наследственные.

– Ну нет! – засмеялся он. – Это только фальшивые так называют. А у вас настоящие.

– Ну конечно, – сухо ответила Наташа.

Как же можно было сомневаться, когда мадам Манель продавала это великолепное изделие по шестьсот франков за нитку, и то только хорошим клиентам к хорошим платьям.

Танцевали много. Мальчик был не красноречив. Больше улыбался, чем говорил. Но улыбался так счастливо, и у самых уголков его рта делались крошечные ямки.

– А вы не уедете в вашу Англию? – спросил он вдруг.

– Нет еще. Не скоро.

Тогда он покраснел, засмеялся и сказал:

– Я вас люблю.

Было уже около двенадцати, и Наташа стала беспокоиться отсутствием Вэра и Брюнето, когда неожиданно явился шофер и подал ей письмо.

Брюнето писал, что приехать не может, рассыпался в извинениях и благодарил заранее «за все, за все». Наташа поняла за что. За то, чтобы она не проболталась патронше. В конце письма сказано было, что она может располагать автомобилем, и был приколот булавкой пяти-сотфранковый билет.

– Я скоро уеду, – сказала Наташа шоферу. – Подождите немножко.

Мальчик опять звал кружиться.

– Последний танец, – сказала она. – Пора домой.

Он даже остановился.

– Вам уже надоело? Вам скучно? Да, я сам знаю. Здесь тесно и душно. Поедем в другое место. Хотите? Я вам покажу... под Парижем. Там чудесно. Еще не поздно... Умоляю вас!

Наташа представила себе свою скучную отельную комнатку. Отчего не остаться еще хотя на часок «богатой англичанкой», раз это так забавно? Еще часок, другой – и конец. Навсегда.

– Ну хорошо, едем, – решила она. – Мой шофер внизу. Вы скажите ему адрес.

Он покраснел от удовольствия, засуетился...

Наташа подошла к своему столику, заплатила за вино и, накинув заученным грациозно-манекенным жестом свое сверкающее манто, спустилась с лестницы.

## 2

*Er war ein Dieb,*

*Sie war...*

**Н. Heine<sup>3</sup>**

Ресторан, к которому привез Наташу Гастон Люкэ, оказался совсем близко за Сеной. Он занимал небольшой двухэтажный домик, весь окруженный стеклянной верандой, изукрашенной гирляндами и цветными фонариками, весь пылающий, как бенгальский костер, среди темных тихих домиков пригорода.

Глухие удары оркестрового барабана доносились на площадь, всю уставленную автомобилями.

– Вот здесь будет уютно! – сказал Гастон, когда Наташа отпустила шофера.

Внизу помещался бар. Наверху – ужинали, пили и плясали. Еле нашелся свободный столик.

На маленьком пространстве, уделенном для танцев, давя друг друга ногами и локтями, колыхались голые спины, голые плечи, распаренные лица.

Оркестр вела дама-пианистка, вела мастерски. Смеялась, выкрикивала английские словечки, гримасничала, хлопала по боку пианино. Гладко зализанная остролицая голова с локонами, вылезавшими из-под ушей, делала ее похожей на веселую борзую собаку.

В каше танцующих выделялся негр, выкидывавший какие-то особые коленца, не очень красивые, но всегда неожиданные. Одет негр был грязновато, и Наташу удивило, что он, пристально посмотрев в их сторону, весело мигнул Гастону. Странное знакомство.

– Вы знаете этого негра? – спросила она.

– Нет, – ответил тот как-то испуганно.

– Мне показалось, что он вам поклонился.

Гастон покраснел:

– Это вам показалось. Он просто так ломается. Он, наверное, в вас влюбился.

– А скажите, вы давно знаете Шуру?

– Шуру? Какую?

– Танцовщицу.

– Да... то есть я видал ее очень часто... раза два.

Попробовали танцевать, но в этой давке трудно было двигаться.

Негр, вытягивая шею, следил за ними. Он все время танцевал с молоденькой блондинкой, выламывая ее в разные стороны. И нельзя было разобрать, танцует он или просто дурит.

– Здесь ужасно душно, – сказала Наташа. – Пора домой.

Гастон встревожился:

– Посидим еще. Я вам сейчас принесу чудесный коктейль. Здешняя специальность. Вы только попробуйте. Умоляю вас! Я сейчас принесу...

Он стал пробираться между танцующими.

Наташа вынула зеркальце, пудру, подкрасила губы. Заметила на платье пятнышко от вина и очень встревожилась. Платье принадлежало «мэзону» и было надето на нее, чтобы продемонстрировать его в Довилле во время обеда, не состоявшегося из-за ссоры Вэра с мосье Брюнето. Из-за этого пятнышка могут быть неприятности, особенно если патронша будет в дурном настроении.

«Ну сейчас не стоит об этом думать. Надо веселиться».

---

<sup>3</sup> Он был Дьявол, она была... Г. Гейне (нем.)



Именно «надо веселиться», подумала она, и тут же почувствовала, что вовсе ей не весело, а только беспокойно, тревожно и пора все это кончить. Богатой англичанкой она себя не чувствовала, поддерживать это недоразумение было бессмысленно и скучно. Подозрительный Гастон оказался глупым и мало забавным.

Она стала искать его глазами и увидела за дверью, у лестницы, ведущей в бар. За его спиной стоял негр и, скосив глаза вбок, что-то говорил, нагнувшись близко, очевидно шептал.

«Значит, он знаком с этим негром?»

Потом оба скрылись, должно быть, спустились в бар.

Толпа танцующих немножко поредела. С улицы доносилось жужжание пускаемых в ход моторов.

Наташа открыла сумочку, чтобы отобрать деньги для такси. Подкладка оказалась мокрой: флакон духов раскупорился, и перчатки, платок и даже деньги оказались в зеленых пятнах от полинявшего зеленого шелка пудреницы.

– Ну вот, попробуйте! – раздался голос Гастона.

Он нес, улыбаясь ямочками рта, два бокала оранжевого питья с торчащими из него соломинками. Один бокал поставил перед Наташей, из другого, выбросив соломинку, хлебнул большим глотком, зажмурил глаза и засмеялся:

– Чудесно!

Наташа попробовала коктейль. Да, вкусно и даже не очень крепко.

Оркестр играл «Ce n'est que votre main, madame»<sup>4</sup>.

И вдруг Гастон, все смеясь и заглядывая ей в лицо, стал подпевать чуть-чуть хриплым, чувственным и странным голосом:

– «Madame, I love you!»<sup>5</sup>

Он наклонился близко, и Наташа чувствовала запах его духов, душный, глухой, совсем незнакомый и очень беспокойный.

«Если любить его, – подумала она, – то от этих духов с ума сойти можно».

– А ведь вы разговаривали с негром? – сказала она, слегка от него отстраняясь.

– «And I will never in my life forget you!»<sup>6</sup> – напевал он, не отвечая.

Не слышал? Или не хотел ответить? Да и не все ли равно.

– Коктейль вкусный. Как он называется?

– Я знаю очень много вкусных вещей, – отвечал Гастон. – Мы как-нибудь поедem с вами на один островок... довольно далеко. Там одна малаечка что-то вам покажет, чего у вас в Англии совсем не знают.

– Странный вы человек, Гастон Люкэ. Скажите мне, чем вы вообще занимаетесь?

– Вами. Я вами занимаюсь.

Он взял ее руки и, смеясь, поднес к губам.

И тут она обратила внимание на его пальцы. Они были грубые, с маленькими плоскими ногтями, хорошо отделанными, но некрасивой формы. Но главное уродство, пугающее, как смутное воспоминание о каком-то страшном рассказе, – был далеко отставленный, несоразмерно длинный большой палец, почти доходящий до первого сустава указательного.

«Рука душителя», – подумала Наташа и все смотрела и не могла отвести глаз, но смотрела исподтишка, словно, если он заметит, что «узнан», тут и произойдет нечто ужасное, чего она не знает и представить себе не смеет.

Он поднял бокал и сунул ей в рот соломинку:

– Ну, еще! Ну, еще! Вкусно! Весело! Чудесно!

---

<sup>4</sup> «Только ваша рука, мадам» (фр.).

<sup>5</sup> «Мадам, я люблю вас!» (фр., англ.).

<sup>6</sup> «И я никогда в жизни не забуду вас» (англ.).

И беспокойный запах его духов вошел в нее как хлороформ, против которого каждый усыпляемый инстинктивно борется и которому сладко и безвольно покоряется, когда почувствует, что нет уже для него в жизни другого дыхания, кроме этого, нежеланного, единственного, блаженного.

– У вас странные руки! – говорила Наташа и почему-то смеялась. – Я очень устала. Я сегодня ездила в Довилль.

Ей хотелось рассказать ему обо всем, чтобы вместе посмеяться над недоразумением с «богатой англичанкой». Но говорить было лень. От крепкого коктейля билось сердце, кружилась голова и начинало тошнить.

Она вспомнила, что не обедала, что в ресторане только выпила шампанского.

– Надо скорее домой.

Она приподнялась, но сейчас же опустилась на стул и чуть не упала. Цветные лампочки закачались, зазвенело в голове... Глаза закрылись, тошнота сдавила горло.

«Гук! Гук! Гук!» – глухо гукало что-то, не то барабан оркестра, не то ее сердце. Должно быть, сердце, потому что больно было в груди...

– Ну что вы! Что вы! – говорил взволнованный голос.

Это Гастон. Милый мальчик!

– Даме немножко дурно. Коктейль был слишком крепкий.

Кому он говорил?

Наташа с трудом открыла глаза.

Негр!

Негр стоит около ее столика. Вблизи он маленький, с серыми, брезгливо распушенными губами. Невзрачный. Лакейчик!

У него в руках Наташин пустой бокал.

– Тогда не надо больше пить. Я унесу коктейль, – говорит он и уносит пустой бокал.

– Попробуйте встать, – говорит Гастон. – Здесь есть комнатка. Вы минутку полежите, и все пройдет.

Он ведет ее. Ноги у нее движутся странно легко, но пола она не чувствует. Глаза не смеет открыть: чуть приоткроет – все зазвенит, закружится, и удержаться на ногах уже нельзя.

– Даме дурно! – слышится голос Гастона.

– Сюда, сюда, – отвечает кто-то.

Ее несут.

Потом она чувствует упругое прохладное прикосновение к затылку и правой щеке, такое знакомое, простое, спокойное.

Мелькнули в глазах ярко-желтые бусы, длинной бахромой падающие откуда-то сверху, и жуткое, смертельно бледное, почти белое женское лицо с квадратно сложенным твердым полотенцем на голове.

Потом острый, тонкий звон.

Потом... ничего.

Сон без снов...

И вот – шорох, шепот.

Что-то чуть-чуть пощекотало шею...

Наташа с трудом открывает глаза и не совсем понимает тот сон, который вдруг видит.

Снится ей розовый туман, снится негр. Он нагнулся над чем-то, что лежит на ночном столике... И еще кто-то спиной к ней, и она не видит его лица. Негр распялил губы брезгливой гримасой, что-то злобное сказал, звякнул чем-то...

– Шют!<sup>7</sup> – шепнул другой и быстро обернулся. И вдруг отчаянно, почти громко воскликнул:

– Она смотрит!

Лицо его Наташа не видела. Розовый туман не был неподвижен. Он плыл, мерцал... Мелькнуло ослепительно бледное женское лицо, с белым квадратным полотенцем на темени... Большая теплая рука легла на глаза Наташи... Но она все равно больше не могла бы смотреть. Шум, звон, плещущие искры заполнили мир, и тяжелые веки опустились прежде, чем закрыла их эта рука. Последнее, что почувствовала она, – был запах странных духов, как будто уже знакомых, таких душных, сладких, блаженных, что, теряя сознание, она улыбнулась им как счастью.

---

<sup>7</sup> Провались! (фр. жаргон)

### 3

– *Qui est-ce votre père spirituel?*

– *Le chevalier de Casanova.*

– *Un gentilhomme espagnol?*

– *Non, un aventurier benitien.*

*Sonate de Printemps.*

*Valee Inclan*<sup>8</sup>

Какая бывает чудесная жизнь!

Две дамы в малиновых платьях, длинных, твердых, широких, танцуют, жеманно подобрыв юбки пальчиками. Под малиновым кустом сидит малиновый пастушок и играет на дудочке...

Чудные, кудрявые, малиновые облака... А за ними малиновая лодочка, и в ней мечтательная дама в малиновом платье. Она опустила руку в воду. А перед ней малиновый кавалер в завязанных бантами подвязках читает что-то по книжечке.

Какая счастливая жизнь!

Подальше на островке два барана... Еще дальше – снова пляшут пышные дамы под свирель пастушка...

Закрывать глаза и потом посмотреть повнимательнее.

Теперь все ясно. Это не жизнь. Это просто обои.

Наташа повернула голову и увидела прямо перед собой лицо сегодняшней ночи: ослепительно белое женское лицо.

Оно было меньше, чем казалось ночью, и принадлежало гипсовому бюсту итальянки, украшавшему камин маленькой уютной комнаты со спущенными розовыми шторами, с розовым абажуром в желтых бусах на висячей лампе и на лампочке ночного столика. Кто-то засмеялся за стеной, и веселый женский голос быстро что-то затараторил.

Послышался звонок, мелкие шаги за дверью. Живой разговор. Все было так просто, как во всех маленьких отельчиках. Совсем не жутко. Наташа приподнялась и увидела, что лежит в платье, в сверкающем вечернем туалете, «креасион» мэзона «Манель»<sup>9</sup>.

Это было первое, что она ясно поняла. Она лежит в вечернем платье. Она смяла чудесное вечернее платье, которое должна сдать в полном порядке.

От этого профессионального шока в усталой, одурманенной голове мысли задвигались – вспомнился весь вчерашний день, поездка в Довилль, шампанское в ресторане, Гастон, вечер, негр.

– Я напилась?

И вдруг вспомнились ночь, негр, шепот:

«Она смотрит!»

Рука...

Наташа опустила ноги с кровати. Голова слегка кружилась.

Что они смотрели на столике – негр и тот, другой?

На столике лежали ее розовый жемчуг и сумочка. Больше ничего. Может быть, негр думал, что жемчуг настоящий, и хотел обокрасть ее?

И вдруг она спохватилась.

Где манто?

На манто был дорогой мех!

---

<sup>8</sup> «А кто ваш духовный отец?» – «Шевалье де Казанова». – «Испанский дворянин?» – «Нет, венецианский авантюрист». «Весенняя соната». В. Инклан (фр.)

<sup>9</sup> «Произведение» модного дома «Манель» (искаж. фр.).

Украли!

Она вскочила.

О-о-о! Вот это действительно было бы ужасно!

Чуть не плача, обошла она комнату.

– Слава богу!

Манто завалилось между кроватью и стеной.

В дверь постучали, и, не дожидаясь ответа, в комнату заглянула приветливо улыбающаяся пожилая горничная в белой наколке.

– Мадам уже встала? Мадам хочет кофе?

Она подбежала к окну и отдернула занавески.

– Я сейчас принесу.

Из окна видны были площадь, трамвай, набережная. Все такое простое, обычное. И горничная так приветливо улыбалась. Ничего, значит, особенного не произошло. А уж одну минуту мелькнула у нее мысль – не подсыпали ли ей чего-нибудь в коктейль... Может быть, даже и негр не приходил ночью... И все это был сон.

Горничная принесла кофе с круассанами.

– У вас много жильцов? – спросила Наташа.

– Да, с субботы на воскресенье многие здесь ночуют. Приезжают танцевать и остаются.

Наташа спокойно выпила свой кофе.

Хорошо, что сегодня воскресенье. Она успеет к завтраму привести платье в порядок.

Подошла к зеркалу, достала из сумочки пудру и карандаши. В другом отделении, куда она прятала духи, платок и деньги, были только духи и платок. Три стофранковых билета, оставшиеся от денег, присланных мосье Брюнето в ресторан, пропали. В ресторане она их потерять не могла, потому что помнила, как здесь, в дансинге, заметила, что мокрая подкладка подкрасила их зелеными пятнами. Значит, они пропали здесь.

Она открыла еще раз отделение, где были карандаши и пудра, и нашла полтора франка, смятые комочком. Это были ее собственные деньги, которые она везла из Довилля.

Итак, все-таки ее обокрали. Кто? Негр? Гастон? Или тот, другой, чьего лица она не видела? Да ведь это, пожалуй, и был Гастон...

Жалко было денег.

Вот и повеселилась «богатая англичанка»! Значит, и им тоже несладко живется. Хорошо еще, что не задушили. Надо будет нарочно пойти когда-нибудь на Монмартр, в тот ресторан, и посмотреть этому Гастону прямо в глаза.

Какой от этого будет толк, она себе ясно не представляла. Спросить про деньги все равно не решится...

Из трамвая выпрыгнул элегантный молодой человек и стал переходить площадь. Приблизившись к отелю, он поднял голову и обвел глазами окна.

– Гастон!

Гастон. И шел, очевидно, сюда, в отель. Как же он осмелился?..

Она накинула свое чудесное манто и вышла в коридор. Гастон поднимался по лестнице.

В полутемном коридоре плохо видно было его лицо.

– Как я рад, что вы встали, – радостно сказал он. – Я ужасно беспокоился. Все думал, что это, может быть, от коктейля вам стало плохо. Но ведь все прошло? Правда?

«Горничная могла стащить деньги», – быстро решила Наташа и протянула Гастону руку.

У него были мягкие свежие губы, и он так ласково держал ее за руку.

– Мы непременно здесь позавтракаем! – сказал он. – Я специально для того и приехал, чтобы угостить вас уткой с апельсином. Это здешняя специальность. Посидим на балкончике, посмотрим на публику и чудесно позавтракаем. А потом я вас сам отвезу домой.

– Какой противный вчера был негр, – вдруг вспомнила Наташа.

– Негр? Негр дрянь: он остановил меня, когда я вчера шел вам за коктейлем, и болтал какую-то ерунду, что вы не англичанка, и всякий вздор. Я его оборвал сразу. Он совсем дрянь. С ним не надо кланяться.

– Да я и не собираюсь.

Они вышли на веранду, где уже начался завтрак.

Чудесный солнечный июньский день такой был веселый, радостный, будто сам смеялся.

Прошла какая-то экскурсия, вероятно общества приказчиков, с трубами и барабанами, украшенными вялыми цветами. Приказчики приостановились и дикими звуками исполнили марш из «Фауста», которого почти никто из слушателей не узнал.

По реке широким лебедем проплыл белый пароход...

«Сказать про деньги или не сказать? Жулик он или не жулик?» – думала Наташа, глядя на розовое, свежее лицо Гастона, на его детскую улыбку с ямочками и смеющиеся ясные глаза.

– Я знаю, о чем вы думаете, – сказал Гастон. – И отвечу вам прямо «да».

Наташа смутилась.

– О чем же я, по-вашему, думала?

– Обо мне.

– Но что именно?

– Ага, значит, признались, что обо мне. Мне только этого и надо было. Так вот, повторяю снова – «да». И прибавлю – «безумно».

«Какой он, однако, слава богу, болван», – облегченно вздохнула Наташа.

Но с ним, с болваном, было весело. Жизнь делалась забавнее и занятнее, если смотреть на нее вместе с веселыми глазами Гастона. Днем тягучие и душные его духи чувствовались меньше, легче, не беспокоили и не тревожили.

– Вам нужно чуть-чуть желтее розовое для щек. О, нет, только не «мандарин»<sup>10</sup>. Есть такой. Я вам привезу. И ногти чуть-чуть розовее и непременно длиннее. Ваш жанр должен быть всегда немножко «чересчур». Понимаете? Надо непременно выработать жанр. Вы только никогда не подходите к испанке – шаль, гребенка... Это к вам очень пойдет, но сразу сделает банальной. Золотые ногти? Это вам бы пошло, если бы их никто не носил, а вы сами бы выдумали. А теперь уже нельзя. Вы должны быть всегда особенной. Я для вас все придумую.

Он был страшно мил.

Подали счет.

Он взял ее руку и несколько раз поцеловал мягко и ласково.

Потом вынул две стофранковые бумажки и сунул их под сложенный на тарелке счет.

На уголке бумажки, торчавшем из-под счета, Наташа ясно увидела зеленое пятно.

---

<sup>10</sup> Цвет пудры.

## 4

*Все что угодно... но уже не вор, не вор окончательно, ибо, если бы вор, то, наверное, бы не принес назад половину сдачи, а присвоил бы и ее...*

**Ф. Достоевский.**

**«Братья Карамазовы»**

Гастон остался растерянный и искренне удивленный, когда Наташа, холодно отказав ему в просьбе проводить ее, села одна в такси.

«Украл? – думала она. – Ясно, что украл. Но почему же так беспечно вынул эти деньги при мне? Или потому, что не знал, что на них моя зеленая отметина? И еще – почему если украл, то не скрылся, а, наоборот, сам пришел и на меня же эти деньги истратил?»

Что он все время бестолково и глупо врет – это было ясно. Но врет как-то по-мальчишески, так что если поприжать его, то, наверное, сразу засмеется и признается. Кто он? Что за человек? Пожалуй, надо было бы рассказать ему о том, что деньги пропали. Решиться, да так, как в прорубь головой. Да, впрочем, никакой и проруби не вышло бы, отоврался бы как-нибудь...

\* \* \*

На другой день, в унылый дождливый понедельник, в мастерской мадам Манель настроение было сгущено-электрическое, как перед грозой.

Манекен Вэра отсутствовала. Была больна. Мосье Брюнето зарылся с головой в счетные книги. Сама мадам не показывалась, только развила усиленную телефонную деятельность. Через дверь ее бюро доносилось непрекращаемое «алло-алло». Это был безошибочный признак дурного настроения.

Клиенток было мало. Понедельник – день тихий.

Наташе пришлось показывать на себе купальные костюмы. Показывать их надо не так, как обычные салонные или спортивные платья. На все нужна своя сноровка.

В салонном платье манекен идет маленькими шажками. Если на ней юбка с оборкой, делает быстрые повороты, чтобы оборки «жили, играли». Если широкий рукав – приподнимает руку.

Пройдясь полукругом, манекен обыкновенно отходит в глубину комнаты и оттуда, не оборачиваясь, решительно и смело идет прямо на клиентку. У некоторых манекенов этот последний маневр принимает иногда чрезмерно вызывающий характер. Одна простая русская душа, любящая мадемуазель Вэра, на этом маневре даже струсил.

– Ой, батюшки, – всколыхнулась она. – Чего же это она так? Ну прямо точно в морду дать хочет!

Спортивные платья показываются юно, свежо, по-мальчишески. Уперев руку в бедро, поджав живот.

Купальный костюм требует купальных поз, сжатых колен, откинутой фигуры.

Наташа сидела в душной комнате, где кроме нее вздыхали, потели и переодевались шесть молодых женщин в одинаковых телесно-шелковых чулках и казенных золотистых туфлях, которые ко всему подходят.

Двери в коридор были открыты, но сновавшие там рассыльные мало смущали голых красавиц. Профессиональная привычка, шокировавшая только новеньких, и то недолго.

День шел нудный, тягучий, и ничто не мешало бестолковым переборам в Наташином мозгу.

...Если вор, то почему пришел, почему украденные у меня деньги на меня же истратил?..

...Почему наврал, будто негр говорил, что я не англичанка? Чтобы выпытать, кто я? Но ведь он же ни разу и не спросил об этом.

...Во всяком случае, думать тут нечего. Денег не вернешь, а от этого темного типа подальше.

И конечно, лучше бы не думать и от темного типа подальше, но одна из голых девиц, влезая в пеструю турецкую пижаму с заходящим солнцем на поясице, вдруг запела:

– «Ce n'est que votre main, madame»<sup>11</sup>.

Это то, что напевал Гастон. Он напевал по-английски:

– «J kiss your little hand, madame»<sup>12</sup>.

Голос у него был чуть-чуть хриплый, странный, очень чувственный. И ямочки у рта смеялись, и глаза смеялись и говорили: вот какая забавная штука! Вот попробуй-ка не почувствуй моего хриплого голоса! Ага! Вот и попалась!

Она схватила спинку стула и опустила лицо в мягкую душистую складку согнутой руки.

От этого телесного нежного ощущения и от тихого напева «той» песенки ей стало так невыносимо беспокойно, что она чуть не застонала.

– Нужно все это разузнать, иначе я не успокоюсь.

Но пойти на Монмартр было совсем немислимо. Спросить у Шуры, танцовщицы, что она о нем знает? Но где достать адрес Шуры? Монмартр вычеркивается. Пойти разве к баронессе?

Баронесса фон Вирх, или попросту Любаша, когда-то училась пластическим танцам и с тех пор поддерживала знакомства в балетном мире. Особенно во время междуцарствия, то есть когда она оставалась без богатого поклонника, ее всегда тянуло в богему. И как раз дня три тому назад Наташа слышала от мосье Брюнето, что баронесса не оплатила уже три счета. Значит, дела в упадке и богема в моде. Можно узнать о Шуре.

---

<sup>11</sup> «Только ваша рука, мадам» (фр.).

<sup>12</sup> «Я целую вашу маленькую руку, мадам» (англ., фр.).



## 5

*Le fleuve ne suit pas d'autre voie que la sienne.*  
**Paul Fort**<sup>13</sup>

Баронесса фон Вирх была самая настоящая баронесса, вышедшая замуж еще до войны за молодого представителя богатого дворянского рода барона Григория Оттоновича фон Вирха. Прошлое баронессы до Вирха, как история мидян, было «темно и непонятно». Говорили, будто она была несколько раз замужем, начала свою карьеру хористкой, а так как в точности никто ничего не знал, то и врал о ней каждый в соответствии своего к ней отношения.

Возраста ее не могли определить даже приблизительно. И скрывался он тщательно.

По этому поводу рассказывали забавный анекдот (который, впрочем, относили иногда и к другим интересным дамам).

В период бегства из пределов Совдепии и хлопот о пропусках большевики опрашивали Любашу. Спросили, между прочим, о ее возрасте.

– Ну, это дудки, – решительно ответила она. – Этого вы от меня никогда не добьетесь. Можете, если хотите, расстреливать.

На вид ей было не больше тридцати, тридцати пяти. Но кто-то, человек как будто достоверный, клялся, что у нее в Харькове сын большевистский комиссар.

Говорили также, что у нее замужняя дочь и взрослые внуки. Вообще – говорили много.

В эмиграции барон за бедностью и полной ненадобностью стусеивался. Где-то что-то работал весьма неопределенное. То заведовал чьим-то образцовым курятником, то коптил рыбу, то точил гайки в граммофонной мастерской, то служил как *chef de reception*<sup>14</sup> в русском ресторане. У жены появлялся редко, и почти никто из баронессиных завсегдатаев с ним не встречался.

Но отношения у супругов сохранились хорошие, товарищеские, и если условия сложного баронессинского быта позволяли, а печальные условия барона того требовали, то он иногда водворялся на несколько дней в ее элегантном особнячке. Ему стелили на диване, и он, как собака, целый день так и сидел на этой подстилке.

В Париже баронесса известна была под именем Любаши, к ней относились хорошо и успехам не завидовали, вероятно, потому, что ее ослепительная красота давала ей право на всякие радости жизни и на всякие пути к этим радостям.

Но забавнее всего, что среди подруг она считалась умной женщиной, тогда как если надо было бы установить незыблемую единицу, так сказать, исходное мерило глупости, то лучше и определеннее Любаши найти было бы невозможно. Говорили бы:

– Глупа, как две Любаши.

Или:

– Чуть-чуть умнее Любаши.

Это не значит, что она была образец глупости какой-либо исключительной. Нет, глупость ее была именно явлением той божественной пропорции, классически цельной и полной, какая в науке может быть взята за единицу.

Но считалась она умной, вероятно, потому, что строила свою жизнь на четырех правилах арифметики. Два из них – сложение и умножение – считала хорошими и к ним стремилась. Два – вычитание и деление – устраняла всеми силами. А силы были большие, и все в ее красоте.

---

<sup>13</sup> У каждой реки только одно русло. *П. Фор (фр.)*

<sup>14</sup> Распорядитель приемов (*фр.*).

В Париже Любаше устроиться удалось не сразу. Барон жерновом на шее тянул ее книзу. Приходилось выкручиваться. Была продавщицей в модной мастерской, но иностранных языков не знала и карьеры не сделала и ушла, прихватив мужа хозяйки.

Стала учиться пластическим танцам, выступила несколько раз в ночном ресторане и ушла, прихватив богатого американца.

– Умная баба, – говорили о ней приятельницы. – Вот как надо жить.

Но урок этот мало кому шел на пользу. Большинство Любашиных приятельниц и без этого урока старались устраивать жизнь по четырем правилам арифметики, но, не имея главного слагаемого – ее чудной красоты, – проваливались.

Знал ли о ее похождениях барон? Этот вопрос вначале интересовал многих.

Трудно было ничего не знать и не понимать, видя ее жизнь, туалеты, квартиру, автомобиль.

– Ведь эдакий дурак!

– Дурак-то он дурак, а, впрочем, кто его знает.

Потом решили, что она, значит, что-нибудь навирает, а он, значит, делает вид, что верит. А впрочем, не все ли равно. Кому какое дело?

Она была мила, приятна, любезна, когда могла – давала на благотворительность. На ее больших вечерах бывали очень видные представители русской эмиграции, которых она знакомила с лысыми французами с розетками в петличках.

– Notre celebre<sup>15</sup>, – говорила она о каждом, – о русском и о французе, и обоим им было приятно, что его называют celebre, и лестно, что знакомят с celebre, размера celebre<sup>16</sup> которого он в точности не знал...

А баронесса угощала хорошим русско-французским ужином и очаровательно картавила, как большинство наших эмигранток, постигших французский язык уже по приезде во Францию.

Все это было чудесно, а больше никому ничего и не требовалось.

---

<sup>15</sup> Наш знаменитый (фр.).

<sup>16</sup> Знаменитость (фр.).

## 6

*«Теперь стойте крепко, – сказал капитан, – будет приступ».*  
*А. Пушкин. «Капитанская дочка»*

Чтобы побывать у Любаши, Наташе пришлось дожидаться до среды, своего выходного дня, потому что баронессу легче всего застать было днем.

На звонок открыла маленькая востренькая дамочка на тонких ножках, на скривленных каблучках – придворная Любашина маникюрша Анфиса Петровна, по прозвищу Фифиса.

По тому, что открыла дверь Фифиса, а не горничная, Наташа сразу поняла, что в предположениях не ошиблась и что у Любаши временный крах.

Фифиса издала приветливый возглас и крикнула в сторону гостиной:

– Свои, свои, не пугайтесь!

Наташа вошла.

На широком низком диване, вся зарывшись в золотые подушки, высоко перекинув нога на ногу, полулежала розово-золотая хозяйка дома.

В белом атласном халатике, отбросив широкие рукава так, что видны были до плеч ее сверкающие круглые руки, закинута за пушистую сияющую белокурую голову, тонкая, но не худая, с легкими ямочками на щеках, на розовых локтях, она казалась солнечным лучом, брошенным на эти золотые подушки, и иными словами, как «сверкает», «сияет», «слепит», о ней и говорить было нельзя.

Рядом на креслах расселся ее двор, выползающий на свет божий только в черные дни, когда поклонников не бывает и гостей не принимают: длинновязая, гололобая, с неистовыми жестами и почему-то в вечернем туалете без рукавов – перекупица старого платья Луиза Ивановна, прозванная Гарибальди за то, что любила рассказывать, как ее тетка видала знаменитого итальянца. Рядом с ней – широкая, костистая, с крашеными волосами, ломко и сухо выющимися, как австралийский кустарник, бровастая гадалка Марья Ардальоновна, называемая для краткости просто Мордальоновной.

Вообще в этом кружке все были известны больше по прозвищам, чем по настоящим именам.

Тут же уместилась и известная нам Фифиса.

Мордальоновна, по-видимому, только что кончила гадать, потому что, задумчиво помуслив большой палец, медленно перебирала шелковисто-сальные зловещей величины карты. На кокетливом столике лежала развороченная масляная бумага и в ней остатки ветчины и крошки хлеба. Судя по виду, ветчину не резали, а прямо драли руками. Да и прибора на столе никакого не было.

Тут же стояло штук шесть запечатанных фарфоровых баночек с каким-нибудь, должно быть, снадобьем для красоты.

Вообще беспорядок в комнате был изрядный.

На креслах разложены платья, манто и шелковые тряпки, на полу раскрыты картонки, на столе окурки, на пыльной крышке рояля две пустые бутылки и стакан.

– Марусенька! – приветливо кивнула Наташе хозяйка, не поднимаясь с места. – Не купите ли крема?

– Я теперь Наташа, – поправила ее гостя, нагибаясь и целуя душистую щечку Любаши.

– А, да, я и забыла! И чего это они вам, словно собакам, клички меняют?

– Теперь мода на Наташу и на Веру, – деловито объяснила гостя. – В каждом хорошем мэзоне должна быть Наташа, русская княжна.

Любаша посмотрела на нее своими синими глазами внимательно и сказала:

– А у вас какая-то перемена. Волосы отпустили? Нет. Просто у вас сегодня есть какое-то выражение лица.

– Ох, уж и скажут тоже! – всплеснула руками Мордальоновна. – Точно у них всегда лицо без выражения!

– Однако и хаос у вас! – заметила Наташа.

– Ужас, ужас, – вздохнула хозяйка и озабоченно повернулась к Гарибальди.

– Ну-с, ангел мой, за манто меньше шестисот я не позволяю. Если в один день сумеешь ликвидировать, то есть принесешь деньги завтра, то, так и быть, валяй за пятьсот. Ведь оно совсем новое, от Вионэ, и марка есть. За черное платье – триста, за зеленое – двести пятьдесят. Но только – живо!

Гарибальди жеманно шевелила плечами.

– Ах, *comme vous etes!*<sup>17</sup> Ваши платья продавать – это, как говорится, совсем *pas facile*<sup>18</sup>. Они слишком *habillees*<sup>19</sup>. Бедным дамам такие не пригодятся, а *dames du monde*<sup>20</sup> ношеного не купят.

– Ну, ну. Очень даже купят. Убирайте все это барахло. Ко мне скоро придут.

Гарибальди стала складывать платья в картонки.

– А какой они национальности? – вдруг спросила гадалка Мордальоновна, очевидно продолжая какой-то разговор.

Любаша сосредоточенно сдвинула брови:

– Н-не знаю. По внешности, пожалуй, вроде еврея.

– Не в том дело, что еврей, – затараторила, по-птичьей вертя головой, маникюрша Фифиса, – а в том, какой еврей. Если польский – одно, если американский – другое.

– Ну-у? – удивилась Мордальоновна.

– Польские в Париж надолго не приезжают. Уж я знаю, что говорю, – тарантила маникюрша. – У них деньги плохие, пилсудские деньги. И родственников у них много, и семейство всегда большое. Польские евреи – это самые женатые из всех. Вот американский – это прочный коронный мужчина. Он как сюда заплывет, так уж не скоро его отсюда выдерешь. Американский – это дело настоящее. А он на каком языке говорил-то? – тоном эксперта обратилась она к Любаше.

– По-французски.

– Ну тогда, значит, американский.

– Я на него карты раскладывала, – вставила гадалка. – Выходило, будто приезжий и будто большие убытки потерпит. Хорошая карта.

– Ты, Мордальон, смотри не уходи, – озабоченно сказала Любаша. – Ты непременно должна ему погадать. Нагадай, что в него влюблена блондинка и что ее любовь принесет ему счастье. Поняла, дурында?

– Погадайте на меня, – сказала Наташа.

– Извольте. Снимите левой рукой к себе. Задумывайте...

Огромные, разбухшие карты шлепались на стол мягко, как ободранные подметки.

– Если не продадутся платья, – говорила между тем Любаша, – я у Жоржика попрошу денег. У Жоржика Бублика, он мне всегда достанет.

И вдруг весь курятник забил крыльями.

– Мало вам того, что было! – кричала маникюрша. – Триста франков даст, а тысячу унесет...

---

<sup>17</sup> Вот вы какая! (*фр.*)

<sup>18</sup> Нелегко (*фр.*).

<sup>19</sup> Ношенные (*фр.*).

<sup>20</sup> Светские дамы (*фр.*).

– Часы-браслет... – перебила ее Гарибальди.

– Его помелом гнать! – бросив карты, вопила гадалка.

– На кого надеяться!..

– Парижский макро! Саль тип!<sup>21</sup> – вставила жеманная Гарибальди.

– А еще умная женщина!

– Это еще не доказано, – искусственно равнодушным тоном сказала хозяйка. – Еще не доказано, что он унес.

– Да чего же вам еще! – возмущалась маникюрша и, обернувшись к Наташе, которая одна не знала, в чем дело, продолжала:

– Все пошли в столовую закусывать, а он тут остался фантазировать на рояле, вот здесь. А дверь в спальню открыта, и на столике часы-браслет. Отсюда, от рояля, отлично видно. С бриллиантками, все их знали. И вдруг и пропали. На Жанну думали. А вся прислуга в один голос на него говорит. Под суд бы его сразу.

– Ах, оставьте! – с досадой прервала ее Любаша. – Если бы его стали допрашивать, он бы со злости такой ушат мне на голову вылил, что дорого бы мне эти часы обошлись.

– Ну, знаете, этого бояться, так, значит, ни на кого жаловаться нельзя?

– Жалуйтесь, если вам нравятся скандалы, – гордо отрезала Любаша, – а я замужняя женщина и дорожу своей репутацией.

На одну секунду воцарилась тишина.

Не только все молчали, но даже не шевелились.

И вдруг маникюрша будто даже испуганно сказала:

– Ой!

И это «ой» прорвало заслоны.

Так, готовая к линчеванию толпа иногда не может приступить к делу, не хватает ей какого-то возгласа, жеста, чего-то логического или, вернее, художественного – потому что во всех массовых движениях есть свой тайный художественный закон: не хватает этого «нечто», что дает возможность перейти от настроения к делу.

И вот это «ой» – двинуло.

Первая взвизгнула Гарибальди.

Визгнула, выскочила на середину комнаты и согнулась от смеха пополам. За ней раскатилась гусиным гогом Мордальоновна, захохла маникюрша, затряслась от смеха Наташа и сама хозяйка, минутку задержавшись, прыснула и повалилась на диван, дрыгая ногами от смеха.

– Ой, не могу! Ой, не могу! – ревела Мордальоновна.

Визг, всхлип, гогот...

Они заражали друг друга смехом, и кто уже было успокоился, подхватывался общей волной.

Длинная Гарибальди, оставаясь посреди комнаты, истерически топала ногами, и все увидели, что башмаки у нее «с чужого плеча», огромные и плоские и загибаются носами, как у Шарло Чаплина. Мордальоновна лежала головой на столе.

И вот на этот визг и вой отворилась дверь, что около рояля, дверь, ведущая в спальню, и оттуда вышел некто, кого Наташа еще ни разу здесь не видела.

Это был высокий костлявый человек, лучше бы всего назвать его «верзилой». Лицо у него было скуластое, и с круглых этих скул, как с гор вода, стекала жидкая русая бороденка, стекала и закручивалась сосулькой на подбородке. Нос, толстый, неровный, торчал, как задранный кулак, над недоуменно приоткрытым ртом.

Одет верзила был в потрепанную непромокайку и шляпу держал в руках. Очевидно, собирался уходить.

---

<sup>21</sup> ..Проходимец! Грязный тип! (фр. жаргон)

Войдя в комнату, где все хохочут, он сначала растерянно оглянулся, потом неожиданно закинул вверх голову и закатился беззвучным смехом, странным, судорожным, словно зевал. Бороденка тряслась, и сам он был трагически смешон, с закрытыми глазами, с задранным носом, с отвалившейся нижней челюстью...

– Грива! – крикнула Любаша.

И, видя недоумение Наташи, прибавила:

– Вы разве не знакомы? Мой муж, Григорий Оттонович, барон фон Вирх Грива! Закрой рот!

Но барон все еще трясся от смеха, и Наташа с ужасом подумала, что хохочет он, не зная почему, а все-то кругом знают, что тема общего веселья крайне деликатная и именно для него отнюдь не веселая.

Потом Наташа пожала ему руку, и его маленькие сонные глаза мутно скользнули по ее лицу.

– Ну, я пошел, – сказал он добродушно и провел пятерней по своим нечесаным прядистым волосам.

– Ладно, голубчик, – сказала Любаша. – Ну поцелуй Люле ручку и иди.

Он нагнулся к ней, и, когда целовал ей руку, она что-то шептала ему на ухо. Он осклабился и пошел к двери.

– Ну погадайте же, – очнулась Наташа. Барон произвел на нее очень тяжелое впечатление.

– Да разве тут дадут, – проворчала Мордальоновна, шлепнула картами и затянула певучим, как все гадают, голосом: – Ну вот... Что хотите знать, того не узнаете... так, так... три шестерки... дорога будет... И путаница большая. И так выходит, что будете вы по воде к себе домой возвращаться...

– В Россию, что ли? – усмехнулась Наташа.

– А все-таки скажу, бойтесь воды. Ух, бойтесь, бойтесь воды!

– Бойся воды и пей шампанское, – сказала Любаша и вдруг раздраженно закричала: – Ну, господа, нашли тоже время гадать! Ко мне сейчас придут, тут не убрано – это прямо невозможно! Смотрите – жрали ветчину, и так все и валяется... Мордальоновна, принесите из кухни тряпку. Где счета от портнихи? Надо счета положить на стол. Фифиса, посмотрите, нет ли в спальней. От Манель. Что?

– Да я говорю, что неловко так сразу, первый раз человек пришел, и вдруг сразу и счета на столе. Поймет, что нарочно приготовили, – урезонивающим тоном протестовала Фифиса.

– Ну что там дурак поймет!

– Дурак! А коли не дурак?

– А не дурак, так тем лучше. Сразу увидит, чего от него ждут. Ну, живо!

Работа закипела. Мордальоновна покорно и даже как будто испуганно вытирала стол, мела пол, дула на крошки. Фифиса носилась вихрем на своих тонких ножках. Никто уже не шутил и не смеялся. Все понимали, что с забавами и хихиканьем покончено, что надо готовиться к приступу, чтобы враг не застал врасплох.

Любаша, с лицом сосредоточенным и сразу до неузнаваемости постаревшим, руководила работами. Ее выслушивали почтительно, забыв о всякой фамильярности.

– Мне как же, надеть передник? – спросила Фифиса.

– Да, пожалуй, лучше в переднике. Если найдется чистый... И когда впустите, попросите подождать и пойдете мне доложить. Поняли?

– Поняла-с.

– А Мордальоновна будет здесь сидеть с картами. Счета нашли?

– Здесь-с. Вот я на столе положила, как приказали.

Наташа встала.

– Я ухожу.

И вдруг вспомнила:

– Да, я ведь пришла спросить – не знаете ли вы адрес Шуры Дунаевой? Танцовщицы.

– Ах, Шуры-Муры? Господа, кто знает адрес Шуры-Муры?

– Я знаю, – отозвалась Фифиса. – Они обе живут в отельчике на Клиши. Улица Клиши, номер пятый.

– Спасибо.

Наташа подошла к Любаше, чтобы поцеловать ее на прощанье.

– Ах, боже мой! – вдруг вскрикнула та. – Вино забыли! Фифиса, беги скорее за порто. Бутылку порто. Нет, внизу больше не дают. Беги через улицу и купи на деньги. И возьми бисквитов. Мордальоновна, приготовь стаканчики, да живее! Он каждую минуту может прийти. Фифиса! Вот тебе деньги.

И в то время как Наташа, чувствуя, что мешает, и торопясь уйти, целовала ее в щеку, она вынула из сумочки единственный бывший в ней денежный знак – сложенную вчетверо стофранковку – и протянула ее Фифисе. Рука ее, сверкая огромным бриллиантом кольца, была мгновение так близко от лица Наташи, что ошибиться Наташа никак не могла. То, что она увидела, было ясно и показаться не могло: она увидела на сложенной вчетверо стофранковке яркое зеленое пятно.

## 7

Наташа особой любовью среди своих приятельниц не пользовалась. Ее считали глуповатой, неинтересной, ничего не обещающей. Прозвище, которое к ней приклеили и о котором она, к счастью для себя, не догадывалась, хорошо определяло отношение к ней. Ее называли «восточная кобылица».

На лошадь она, между прочим, совсем не была похожа: среднего роста, стройная, с движениями легкими и мягкими, с лицом совсем уж не лошадиным, недлинным, с темными тихими глазами. Но, странное дело, прозвище это все-таки подходило к ней. Может быть, определяло какой-то душевный склад ее. Объяснить это трудно. Так, например, почему одному человеку «идет» имя Александр, а другому Сергей? Чем вы это объясните? Какие данные и приметы должны быть у того и у другого? Как определить? А между тем это так.

Красивой Наташу признавали все. Но нравилась она мало кому.

– Неинтересна.

– Скучная.

И действительно, ей было на свете скучновато. Точно всегда была она не на своем месте. В буржуазном обществе чувствовала себя богемой, в среде богемы сжималась и смущалась. Было в ней что-то стародавнее, хотя во время революции была она месяца три замужем за бывшим помещиком. Во время эвакуации они потеряли друг друга, да Наташа и не горевала об этом. Не по легкомыслию, а потому, что в то безумное время многие так истерически сходились от страха одиночества, от предсмертной тоски, когда нужно, чтобы был хоть кто-нибудь, кому можно сказать:

– Мне страшно!

И можно сказать:

– Прощай!

Находили друг друга не ища, сходились, расходились, и, уходя, ни один не смотрел вслед другому...

После мужа были у Наташи романы, короткие и скучные, и ни один из этих случайно подошедших к ней людей не искал тепла, близости душевной, ни один не рассказывал с грустью и нежностью о годах своего детства, не каялся со сладким стыдом в былых увлечениях. К близости с ней относились как к остановке на маленькой почтовой станции. Едет человек на перекладных, ждет, пока перепрягут лошадей, и знает, что сейчас же и дальше. Так не распаковывать же на такой короткий срок своих чемоданов!..

Недолгие, скучные романы: несколько обедов в ресторане, несколько дансингов, несколько театров. И все.

– Мы будем переписываться...

– Вы меня не забудете?

– Ни-ко-гда.

Они уходили, и она не вспоминала о них. Даже во сне.

\* \* \*

Выйдя от баронессы, Наташа пешком пошла домой. Шла медленно, останавливаясь, так билось сердце, что даже тошнило.

– Это уж прямо психоз, – говорила она себе. – Я всюду вижу эти зеленые знаки. Точно какой-то авантюрный роман. Тайна зеленого пятна... Но все-таки – в чем же дело? Допустим, что Гастон взял тогда мои деньги, и я видела у него свою бумажку. Но как могла попасть такая



же бумажка к Любаше? Случайно тоже запачкалась в зеленую краску? И случайно два точно таких же пятна – одно широкое, круглое, другое длинной полосой... Уж очень была бы удивительная случайность. Прямо чудо.

Но не могла же она спросить у Любаши – откуда у нее эта бумажка. Совсем был бы идиотский вопрос. Если бы можно было рассказать всю субботнюю историю, тогда и спросить было бы вполне естественно. Но рассказывать нельзя. Поехала черт знает с кем, напилась и ночевала в каком-то притоне. И после этого еще завтракала с этим самым типом! Все эти Любаши, наверное, проделывают вещи и похуже, но уж конечно никогда об этом не рассказывают.

Нет, ничего рассказать нельзя, и про странную стофранковку тоже спросить нельзя. Потом все, наверное, выяснится.

А теперь оставалось одно: разыскать Шуру и спросить, что она знает. Шура милая и простая, может быть, ей можно будет рассказать... Уж если кому – так именно ей одной.

## 8

Дом, где жили Шура-Мура, Наташа искала недолго. Это был парижский отельчик, населенный почти сплошь русскими, такой для русского гнезда типичный, что и на номер смотреть не нужно, и так ясно.

Из окна второго этажа, крутясь, спускалась на веревке бутылка, остановилась около окна первого этажа, и звонкий женский голос закричал:

– Марфа Петровна! Плескните уксуску! Томаты заправить. Не могу в коридор выйти, я на дверь записку нашла, что меня дома нет. Ведь куска проглотить не дадут... А, Марфа Петровна?

А из окна первого этажа толстая голая рука ловила бутылку.

По узенькой крутой лестнице-винтушке Наташа стала подыматься. Всюду неплотно прикрытые двери и из щелей – любопытные носы, тараканьи усы, острые глаза, шорохи, шепоты, детский рев и громкие споры самого интимного содержания. Кое-где на дверях записочка:

«Ключ под ковриком».

«Маня, подожди Сергея».

«Ушла за телятиной, твоя до гроба».

А на двери, за которой громче всего галдели и стучали вилками, – лаконическое и суровое:

«Дома нет».

Лестницы в таких отельчиках всегда вьются так круто, что поднимающемуся кажется, будто он видит свои собственные пятки. И все время бегают по этим лесенкам жильцы, то вниз в лавочку, то друг к другу за перцем, за солью, за спичками.

Шныряют по лесенкам и торговые люди с корзинками и пакетиками, предлагают за 20 франков чулки, «которым настоящая-то цена 60», либо флакончик духов неопределенных запахов за восемь франков «вместо сорока». Носят и копченую рыбу, «вроде нашего сига», и в той же корзинке крепдешины, «каких в магазине вам и не покажут».

Наташе повстречалась приятная конопатая скуластая рожа с узлом в руках и, смущенно улыбнувшись, предложила:

– Не желаете сукенца хорошего?

И, уже спустившись на несколько ступенек, прибавил совсем безнадежно и единственно в силу коммерческой техники:

– Есть отрез на брюки...

Сверху перегнулся кто-то через перила и крикнул:

– Если вы к Саблуковым, то они просили обождать.

А из двери высунулся любопытный нос и спросил:

– Да вы к кому?

Она сказала.

– Так ведь они, кажется, уезжают, – пискнул кто-то из другой двери.

– Это танцовщицы-то? Нет, они должны быть у себя! – закричал кто-то этажом ниже.

Из той двери, где «никого не было дома», тоже высунулся кто-то и что-то посоветовал...

Наташа поднялась на пятый этаж и постучала. Встретили ее радостным визгом. Визжала Шура. Мурка выразила свою радость улыбкой и еще тем, что немедленно освободила один из двух стульев, составлявших меблировку комнаты, от наваленных грудой кисейных юбок, галунов и шарфов, и подвинула его Наташе.

– Наташа! – визжала Шура. – Уезжаем! Контракт на пять городов... В меня влюблен голландец... Ни слова ни на каком языке... Какая ты красавица! Кто тебе дал мой адрес?

– Адрес я достала у Любаши Вирх, – еле смогла вставить Наташа.

– У Любаши? Правда, какая красавица? И, заметь, ей больше шестидесяти... Видела кольцо? Бриллиант? Это ей подарил какой-то раджа или хаджа. Дивный! Подарил с условием, чтобы она его только дома носила... Мурка, есть у нас молоко? Да, только дома. А то если родственники увидят, так сейчас начнут судиться и отберут. И закладывать его нельзя – тоже родственники отберут. Богатейший этот ханжа. Мурка, есть молоко? Нужно ее кофе напоить.

Наташе нравилось у Шуры. Грудами наваленные на постель костюмы – все кисея, тюль, блески. На полу у камина грелся на спиртовке маленький утюжок. На стенах открытки, изображающие Шуру и Муру в балетных позах, таких диковинных, что не сразу разберешь, где рука, где нога.

На камине, прислоненный к зеркалу, тускло поблескивал почерневшей ризой образ Казанской Божьей Матери. Рядом два поменьше – Николая Чудотворца и Пантелеймона. Тут же – пестрое пасхальное яйцо и пучок сухой вербы.

Перед иконами – коробочка с пудрой, румяна, карандаши для губ и бровей. Что поделаешь – места другого нет, да и зеркало одно, а пудра и румяна в их ремесле вроде как бы соха для пахаря – нужна и благословенна.

Русские артисты вообще народ очень набожный. Довольно дикое впечатление производит на постороннего человека какой-нибудь степенный старый актер, который, стоя у кулис, зажмурит глаза и сосредоточенно шепчет молитву. И вдруг, осенив себя истовым широким крестом, выскочит курбетом на сцену и залепечет фолишонным<sup>22</sup> голоском:

– А вот и папашка! Ку-ку! А вот и папашка!

Для актеров же это вполне естественно.

Что же, разве не близки они в этой наивной вере в значительность своего искусства трогательному легендарному жонглеру, который даже такой малый дар, как способность ловить мячики, счел достойным для жертвы Мадонне?

Шура и Мура были похожи друг на друга, хотя даже не родственницы. Обе смуглые, немножко испанского типа – каких только типов не взращивала благодатная русская почва! Мура повыше, посуше, часто выступала в мужском костюме. Она хорошо знала языки, вела всю деловую переписку, а также отвечала на письма иностранных поклонников, и своих, и Шуриных.

Шуры-Муры были милые девочки. И трогательны были эти их легкие, пышные юбочки, блестящие и пестрые, как крылья райских птичек, и утюжок, и кастрюлька, и чулки, сваленные в раковину умывальника, очевидно для стирки, и все эти перья, пряжки, и картонная кукла-пупс, наряженная в балетную юбку, тоже на камине, но отставленная подальше от образов, где, темен и строг, сквозил в прорезы оклада лик святого. Темен и строг, но приподнятая черная рука его прощала и благословляла.

– Дадим ей кофе, – волновалась Шурка. Она усадила Наташу и стала перед ней на колени: – Ну, теперь я тебе расскажу. Этот голландец... на этот раз все это очень серьезно. Понимаешь? Очень. Это уже настоящее.

Личико у нее стало вдруг восторженно-печально.

– На этот раз я знаю, что меня действительно любят. Зовут его Ван Грот или Ван Крот... Мурка! Ван что его зовут? Ван как?

– Ван Корт, – отвечала Мурка.

– Ну да, Ван Корт. Я же так и говорю. Да это безразлично. Я его зову просто Ванькой. Джентльмен чистокровнейшей воды. Целый месяц угощал и меня, и Мурку, возил кататься. Теперь письма пишет. Мы ничего не понимаем. Мурка говорит, что некоторые слова похожи на немецкий. Между прочим, он страшно богат. У него там в ихнем Брюкене целый дворец. Понимаешь, чем это пахнет?

---

<sup>22</sup> Идиотский (искаж. фр.).

Шурка сделала паузу, сдвинула брови, сжала губы – изобразила, как могла, умную, расчетливую женщину. Но Наташа не придавала этому ровно никакого значения. Она знала, что Шурка жаждала только тепленькой любви и что ничего ей, кроме этой тепленькой любви, не надо, а про дворец рассказывала исключительно для того, чтобы не бранили ее душой.

В этой среде считалось вполне естественным, если женщина сходилась с товарищем по сцене, даже с бездарным и неудачником. Но человек из другого мира должен быть богат. Артистка, вышедшая замуж за студента или за бедного маленького чиновничка, возбуждает в подругах презрение, граничащее с отвращением.

– Этакая дура!

Измена своей касте должна, очевидно, чем-то выкупаться.

Вот оттого-то Шура и хмурила деловито брови.

Пусть думают: «Молодчина Шурка Дунаева! Умеет людей обирать!»

Что ж, у каждого свое честолюбие...

– Кофе готов, – сказала Мурка. – Молоко нашлось.

– Ну а как твой этот влюбленный-то? – спросила Шура, все еще не вставая с колен.

– Какой?

– Ну да чего ты притворяешься? Этот, который к тебе на Монмартре привязался.

Наташа чуть-чуть задохнулась.

– Н-не знаю. Я его больше не встречала.

– Ну, полно врать-то!

Шура так обиделась, что даже встала с колен.

– Что я тебе не друг, что ли? Он на другое же утро прибежал сюда, как бешеный, чуть свет, часов в одиннадцать. Мурка еще спала, я его в коридоре приняла. Подумай – слетал в тот ресторан, добыл наш адрес – до вечера дожидаться не мог! – прискакал о тебе расспрашивать.

– Что же он спрашивал? – сказала Наташа, стараясь быть как можно спокойнее.

– Спрашивал, правда ли, что ты англичанка и есть ли у тебя покровители. Я сначала обдала его форменной холодностью. Но он клялся, что хочет устроить твою судьбу, что у него есть для тебя очень серьезные предложения... Ну я и сочла глупым скрывать.

– А... а кто же он сам?

– Этого я в точности не знаю, но, по-видимому, джентльмен чистокровной воды.

– А раньше ты его встречала?

– Много раз. И всегда с очень элегантными дамами.

– Я тоже встречала его по всем кабакам, – вставила Мура.

– А чем же он все-таки занимается? – допытывалась Наташа.

– Ну почему же я могу знать? Может быть, просто сын богатых родителей...

– А по-моему, – сказала Мурка, – он скорее из артистической среды. Мне кажется, что года два тому назад он играл на рояле в кафе «Версай»... И пел в рупор<sup>23</sup> песенки. А впрочем, я не уверена.

– Так это всегда можно спросить. Какой же артист станет замалчивать о своих выступлениях? – волновалась Шурка. – Во всяком случае, джентльменом от него несет за сорок шагов.

– Ох, Шурка, Шурка, – покачала головой Мурка.

– Ну что «ох»? Ну что «ох»? Ее безумно полюбил очаровательный молодой человек, блестящий, интересный. Так вам непременно надо козыряться и кобениться: «Ох, почему вы не профессор агрокультуры! Ах, почему вы не торгуете фуфайками, почему нет в вас солидности?» Любили нас, подумаешь, солидные-то! Помнишь, Мурка, зимой патлатый-то этот повадился? Приватный доцент, ученый человек. Придет, – обернулась она к Наташе, – принесет полдюжины пирожных, сядет да сам все и сожрет. А потом – «ах, ах! я такой рассеянный!».

---

<sup>23</sup> Здесь – микрофон.

Любуйтесь, мол, на него, на великого человека со странностями. Нет, Наташа. Если любит тебя молодой и милый тебе человек, так и не финти, серьезно тебе говорю!

Она выпрямилась, ноздри раздула и даже побледнела, так была взволнована.

Наташа улыбнулась.

– Да я не финчу. Только, право, я его больше не видела.

– Ну, он еще разыщет тебя. Я сказала, что ты у Манель.

Наташа долго сидела у Шур-Мур. Ей было уютно и спокойно на душе, несмотря на бес-толочь и птичий беспорядок их гнезда. Она помогала закреплять блески на костюме Царь-Девы, пришивала галуны к шальварам персидской рабыни, гладила шарфы и ленты и слушала о любви удивительного голландца.

И ей не хотелось уходить из этого мира, где все так просто, ясно, весело и где ее тревога последних дней, и подозрение, и страх – все складывалось и давало сумму «интересный роман».

Она ничего не рассказала Шурке о пропавших деньгах и зеленых пятнах. Она знала, как Шурка к этому отнесется.

Да, и пожалуй, и правда – все это совпадения, воображение...

А главная правда, что уж очень скучно и пусто на свете...

## 9

$2 \times 2 = 4$

*Таблица умножения*

*Das ist eine alte Geschichte Doch  
bleibt sie immer neu.*

*Н. Heine<sup>24</sup>*

Да – дважды два четыре.

И всегда останется новой старая сказка.

Через два дня, выходя от Манель, почти прямо против подъезда увидела она кого-то, кто, по-видимому, ждал ее и тотчас стал переходить улицу, направляясь к ней. Она узнала его и не удивилась, даже не очень взволновалась, словно ждала этой встречи. Она только просто очень обрадовалась. Гастон шел медленно, смущенно улыбаясь.

И когда подошел, оба, улыбаясь, долго держали друг друга за руки.

– Наташа? – с ударением на последнем слоге спросил он.

Она поняла, что значит этот вопрос. Это значило, что ему все известно и он как бы просит ее согласия относиться к ней не как к выдуманной богатой англичанке, а как к настоящей маленькой служащей из модной мастерской.

Наташа засмеялась и кивнула головой.

Он повел ее в кафе, угостил шоколадом и пирожными, и сам как-то по-детски озабоченно выбирал эти пирожные, и потом следил за выражением ее лица – понравился ли ей его выбор. Очень было мило и весело в этом кафе. Сидели долго.

Потом пошли в маленький ресторанчик обедать.

В ресторанчике было уже не так хорошо. Гастон плел про себя какие-то небылицы, путал, сбивался.

– Мой отец был выходцем из Болгарии, известный богач...

– Выходцем? – перебила его Наташа. – А куда же он вышел?..

– В Ригу. Но он был чистокровный француз. А мать моя была красавица итальянка. Это был страшный мезальянс, хотя она и была титулованная.

– А как же ваша фамилия?

– Та самая, которую я вам сказал.

– А как? Я забыла.

– Гастон Люкэ.

Он посмотрел на нее, видимо, беспокоясь, что она ничего по этому поводу не говорит, и прибавил:

– Я иногда брал артистические псевдонимы...

– Вы, значит, артист?

– Да. Я кончил консерваторию в... в одном маленьком городке.

– В маленьких городках нет консерваторий.

– Это была не совсем консерватория, а – вроде. В Румынии.

– И потом выступали?

– Очень редко.

– А вы не играли в оркестре в кафе «Версаль»?

---

<sup>24</sup> Это старая, но вечно новая история. Г. Гейне (нем.)

– Никогда в жизни, – ответил он очень быстро, помолчал и прибавил: – Может быть, так как-нибудь, в шутку...

«Он стыдится этого, – подумала Наташа. – Он хочет быть в моих глазах независимым светским человеком, сыном какого-то знатного «выходца»...»

Ей стало жаль его, и тихая теплая нежность овевала ее душу.

«Не надо приставать к нему с вопросами. Не все ли мне равно, кто он? Может быть, больше и не встретимся. Уйдет и не вспомнит».

После обеда прошлись по бульвару и сели за столиком большого кафе на улице.

Наташа чувствовала себя усталой и говорила мало, а Гастон увлекся беседой с алжирцем, продающим ковры. Он без конца шутил с ним и хохотал, рассматривая его товар. И хоть ясно было, что он ничего не купит, алжирец продолжил юлить около.

Такие алжирцы всегда бродят мимо больших кафе с неизменными цветными ковриками, иногда с довольно дрянными мехами или даже с поддельными жемчугами и бусами, но главное, конечно, с коврами. Бродят они также по модным пляжам, где довольно нелепо предлагать товар голым людям. Ну на что голому ковер или лисья шкура? Да и кошелек на голом нет.

И никто, между прочим, никогда не видел, чтобы у такого алжирца кто-нибудь что-нибудь купил. Существование их для всех загадка. Многие склонны даже видеть в них шпионов, но что можно около кафе шпионить? Какие оперативные планы можно продать неприятелю? Загадка.

Вот с таким алжирцем долго посмеивался Гастон. Под конец сказал:

– Я хочу совсем крошечный коврик, беленький.

И засмеялся, глядя алжирцу прямо в глаза.

– Меньше этих сейчас нет, – серьезно ответил тот. – Дайте задаток полтора ста франков.

– Сто! – сказал Гастон.

Алжирец перекинул свои ковры на руку и стал медленно отходить.

– Он сейчас вернется, – шепнул Наташе Гастон.

И действительно, алжирец постоял посреди улицы, посмотрел во все стороны, снова подошел к их столику и, сняв с плеча небольшой коврик, поднес его к Гастону. Тот дал ему сто франков и стал шупать коврик. Потом алжирец быстро вскинул коврик снова на плечо и ушел, не оборачиваясь.

– В чем же дело? – удивилась Наташа.

Ей показалось, что он сунул в руку Гастону крошечную записочку.

– Вам письмо?

– Да. От одной интересной испанки.

– Отчего же вы не читаете?

– Нельзя.

И нагнувшись к ней, шепнул:

– Кокаин.

– Разве вы нюхаете кокаин?

– Нет, это я не для себя. Это для одного знакомого. Он его продает и получает в десять раз больше.

– А вы знали раньше этого алжирца?

– Ну конечно.

Станный этот Гастон! Впрочем, он так много врет, что, может быть, и не знал раньше этого алжирца. А может быть, это и не кокаин, а действительно записка.

– Милый Гастон, – сказала она. – Если бы вы ввали не постоянно, то было бы интереснее. Я бы тогда угадывала, что – правда, что – ложь.

Гастон стал серьезным, как будто обиделся. Потом сказал:

– Если бы вы могли быть моей подругой, у меня никогда не было бы тайн. То есть – почти никогда. Ведь вы тоже не всегда говорите правду. Разве вы не выдавали себя за богатую англичанку?

– Опомнитесь! Я ни слова не сказала.

– Не сказали, но и не разубеждали меня. Вы, между прочим, говорили: «мой шофер», «моя машина»...

– Точно так же я сказала бы «мое такси»...

Он засмеялся:

– Видите, как неприятно, когда вас уличают во лжи! А по отношению ко мне вы только этим и занимаетесь!

Наташе показалось, что он сердится, и она смущенно взглянула на него. Нет, он, по-видимому, и не думал сердиться. Он посмотрел ей прямо в глаза и засмеялся.

– Ну как вы не понимаете, – сказала Наташа. – Ведь это тогда была просто шутка, забава, а не обман.

– Ну вот, вот, ведь и я тоже шучу и забавляюсь.

– А будет ли когда-нибудь правда? – спросила Наташа и сама смутилась, точно вопросом этим выдавала какое-то свое желание, какие-то надежды на дальнейшие встречи, на более сердечные и искренние отношения.

Он ничего не ответил на ее вопрос, только молча поцеловал ей руку.

Они расстались, не условливаясь о новой встрече, но на другой день он снова ждал ее на улице.

И они снова обедали вместе и вечер провели в кинематографе.

– Вы, кажется, целый день свободны, Гастон? – спросила Наташа. – У вас нет сейчас определенных занятий?

– Наоборот, я очень занят. У меня масса дел.

– Каких?

– Комиссионных. Я занимаюсь комиссионными делами. Вот мне сейчас поручили продать один дом. Я на этом деле смогу заработать несколько десятков тысяч. Даже еще больше. Наташа посмотрела на его детский рот с надутой верхней губой, на розовые щеки.

– Не похожи вы, Гастон, на солидного дельца. Сколько вам лет?

– Гораздо больше, чем вы думаете, – обиженно ответил он. – Мне уже под тридцать. Я знаю, я очень моложав, но стоит мне надеть очки – я сразу делаюсь на десять лет старше.

– А вы носите очки?

– Нет.

Она засмеялась, но от разговора этого легла ей на душу легкой пленкой печаль.

«Под тридцать. Двадцать три? Двадцать четыре?... А мне тридцать пять».

И тут же совершенно ясно видела полную неосновательность своей печали. Не все ли ей равно? Не так она стара, чтобы грустить об ушедшей юности. А если ему даже двадцать, то ей-то какое до этого дело? Пусть хоть пятнадцать. Ведь не замуж же ей за него выходить?

Мысль была совершенно ясная и дельная, но тихой печали с души не сняла.

На другой день перед уходом из мастерской она долго прихорашивалась перед зеркалом и слегка поддумянилась. «Конечно, не потому, что Гастону третий десяток, а просто так. Захотелось...»

И, выйдя из подъезда, пошла не как всегда – ленивой и усталой походкой, а легко, быстро, прямо, словно показывала покупательницам новую спортивную модель.

Она дошла до конца улицы, вернулась, прошла снова.

Никто не догнал ее и не окликнул.

Гастон не пришел.



## 10

*Как нимб, любовь, твое сиянье  
Над каждым, кто погиб любя.  
Блажен, кто принял посмеянье,  
И стыд, и гибель от тебя...*

**Валерий Брюсов**

*La Du Barry, pauvre, vieille belle, pleura sur l'échafaud, criant: «Encore  
un petit moment, monsieur le bourreau!»  
Histoire de France<sup>25</sup>*

Не пришел он и на следующий день. Да ведь он и не обещал, что придет...

Стояли жаркие, душевные дни. Настроение в мастерской было истерическое.

Продавщица Элиз упала в обморок перед заказчицей. Манекен Вэра вела себя вызывающе, опаздывала и нагло улыбалась, когда мадам Манель делала ей замечания. Очевидно, она нашла себе другое место и старалась вывести Манель из себя, чтобы та сама ее прогнала. Тогда можно было требовать с нее полагающихся в таких случаях «ликвидационных». Но Манель как будто угадала ее маневр и хотя белела от бешенства, но решительных слов не произносила и была таким сладким ангелом, как бывают только от самой крутой злости.

Мосье Брюнето был неуловим, и в какой фазе находились его отношения с Вэра, определить было трудно. Но это последнее обстоятельство выяснилось, когда Вэра пригласила Наташу провести вместе вечер:

– Мы заедем за вами ровно в девять. Наденьте открытое платье.

«Кто это «мы»?» – подумала Наташа.

«Мы» оказалось состоящим из Вэра и Брюнето. Заехали они уже не в великолепной «Испано»<sup>26</sup> мадам Манель, а просто в такси. Оба были веселы и говорили друг другу «ты».

Поехали в большой ресторан, где обедают с танцами.

Наташе было скучно.

Вэра в счастье своем оказалась очень вульгарна, шлепала Брюнето по щекам, шептала ему что-то на ухо, зажимала ему рот рукой.

Брюнето сидел красный, с блаженно растерянной улыбкой.

С Наташей оба они почти не разговаривали, так что она даже не понимала, зачем ее пригласили.

За столиком, наискосок от них, сидела парочка, на которую все обратили внимание, – дама и кавалер.

Даме было лет под шестьдесят, типа она была английского, дико худа, но с могучими костями, которые точно гремели, когда она плясала, так были голы и страшны. Щеки ее, очевидно подвергнутые эстетической операции, носили легкие следы каких-то не то швов, не то шрамов, густо замазанных белилами и румянами. Через легкое платье обрисовывались все ее маслаки, кострецы, берцовые и прочие кости. Она была страшна. Вообще можно отметить, что безобразно толстые женщины вызывают смех, тогда как безобразно худые, может быть, потому, что напоминают о скелете и о смерти, возбуждают истинный ужас. Над ними не смеются, их пугаются.

---

<sup>25</sup> Бедная старая красавица дю Барри плакала на эшафоте, крича: «Еще минутку, господин палач!» *История Франции (фр.)*

<sup>26</sup> Имеется в виду «Испано-Сюиза» – дорогая марка автомобиля.

Вот так страшна была эта старая англичанка. И казалась еще страшнее от соседства со своим кавалером, худеньким, бледным мальчиком лет двадцати двух, с обиженным лицом и красными веками. На мальчике были кольца и три цепочки на правой руке.

Метрдотель, разговаривая с Брюнето и видя, что тот смотрит на странную пару, улыбаясь, объяснил:

– Вот сделал карьеру молодой человек. Он был дансером у Сиро. Там пленил эту англичанку, она заплатила все его долги и вот держит его у себя.

– Ну какие у него могли быть долги! – засмеялся Брюнето. – Кто ему давал больше десяти франков!

Наташу непонятно волновала эта пара. Она глаз не могла отвести от старухи, страшной, как похоронная кляча, с которой сняли ее торжественную попону, и от этого обнимающего ее мальчика, бледного, с красными веками, какого-то умученного, смущенного и торжествующего. Похоже было на какого-нибудь циркового «человека-аквариум», который глотает перед публикой живую лягушку. Ему физически противно, и ему стыдно, потому что занятие все-таки не почтенное – зрителей мутит, но он горд, потому что номер исполняет исключительный и деньги за него получает хорошие.

Старуха – та никаких сложных чувств не проявляла. Она была невозмутима, спокойна и совершенно не замечала ни насмешливых взглядов, ни улыбок. Не хотела замечать, потому что все-таки совсем-то уж ничего не заметить было нельзя: настолько многие из зрителей держали себя нагло и развязно.

Старуха танцевала, пила шампанское, поднимая хрупкие бокалы огромной, как грабля, костистой рукой. Кожа на этой руке так плотно обтягивала остов кости, что трудно было отличить, где начинаются пальцы, и казалось, что они растут прямо от запястья... И как она была спокойна – эта страшная женщина, этот скелет человека, умершего от любви.

«Gloire a ceux qui sont morts pour elle!»<sup>27</sup>

И мальчик этот как лунатик. Неужели ему не стыдно? И что-то в нем напоминает... Эти слегка приподнятые плечи, когда он танцует. Может быть, даже и не он отдельно напоминает, а вся эта атмосфера, эманация этой пары, этого джаза, утонченно-чувственного, развратного, как тайное сновидение, о котором никогда никому не рассказывают, и запах духов и вина – все это вместе... нет, не напоминает, а как-то дает нервам «его», Гастона.

И вот – последний блик, которого не хватало... Один из музыкантов, толстый и черный, как жук, встал и, приложив ко рту рупор, запел:

«Ce n'est que votre main, madame!»<sup>28</sup>

– Я очень устала, – сказала Наташа. – Отпустите меня домой!

И Брюнето и Вэра до невежливости быстро согласились на ее просьбу.

Брюнето вышел проводить ее и усадить в такси. И когда они уже стояли внизу, к подъезду подкатила большая барская машина, из которой вышел высокий элегантный господин с седыми височками, с розеткой в петличке, в цилиндре и белом кашне и, повернувшись, обождал, пока выйдет из автомобиля его спутник, тоже элегантный, тоже в цилиндре и белом кашне, и, взяв его ласково под руку, прошел в подъезд.

Этот второй элегантный господин был Гастон.

Наташа так испугалась, увидя его, что спряталась за спину Брюнето.

Почему она испугалась, она и сама не понимала.

Спала эту ночь плохо. Все думала, что если опять Гастон подойдет к ней, то нужно будет непременно рассказать ему, что ее в ту ночь в притоне обокрали, и спросить, знает ли он Любашу, и еще надо рассказать про зеленые отметины на деньгах. Словом, все. Будь, что будет.

---

<sup>27</sup> «Слава тем, кто умер за нее!» (фр.)

<sup>28</sup> «Только ваша рука, мадам!» (фр.)

Но, проснувшись, сразу поняла всю бессмысленность этого решения. Если он в это дело замешан, то, конечно, ни в чем не признается, а просто отоврется и уйдет. Навсегда.

Если не виноват, то может почувствовать, что его подозревают, обидится и уйдет. Результат всегда тот же. Зачем же поднимать эту историю, раз она не хочет, чтобы он уходил?

Появился он дня через три, но не на улице, как раньше, а пришел прямо к ней.

Это было в воскресенье, и Наташа только что оделась, чтобы идти в ресторан завтракать.

– А я про вас что-то знаю, – лукаво сказала она. – Вы три дня тому назад были вечером в ресторане с одним пожилым господином.

Гастон сильно покраснел. Это в первый раз видела Наташа, что он покраснел.

– Это неправда, я нигде не был.

– Да я сама вас видела.

– Ах да. Вы... про это... Это один друг моего покойного отца...

– А разве ваш отец умер?

– Нет... Я хотел сказать – покойный друг моего отца.

Наташа стала истерически хохотать, а он даже не понял отчего.

– Милый Гастон! Простите меня. Я вас очень люблю... И не обижайтесь, когда я смеюсь.

Но он, кажется, обиделся.

– Я очень рад, – сказал он сухо, – что вы такая веселая. Я бы и сам смеялся с вами, если бы понимал причину вашего смеха.

«Какой, однако, болван! – подумала Наташа. – Врет ерунду несусветную, да еще и обижается».

Но все-таки ей было неприятно, что он надулся, и она была очень довольна, когда он предложил вместе позавтракать и оживился, рассказывая о каком-то ресторанчике против вокзала Монпарнас, где чудесные и очень дешевые лангусты.

За завтраком он совсем развеселился и обещал пригласить ее в свое ателье.

– Чудесное ателье. Одно из лучших в Париже. У меня там дивный рояль, и я хочу вам сыграть. Сейчас его немножко ремонтируют, это ателье, но на днях все будет готово.

На следующий день он, очевидно, позабыл все, что врал про ателье, и повел Наташу к себе в крошечную комнатку крошечного отеля, около Этуаль. Инструмент, оказалось, действительно у него был, но не рояль – рояль бы и не въехал в его конурку, – а просто пианино.

Кроме пианино в комнате помещались кровать и стул. Даже стола не было. Остальная обстановка состояла из невероятного количества всякого рода башмаков. Их было не меньше двенадцати-пятнадцати пар, и стояли они за неимением места под кроватью на стуле и даже на пианино.

Освободив стул, Гастон усадил Наташу и стал играть. Играл он действительно великолепно.

«Что за чудо! – подумала Наташа. – Оказывается, что он не соврал».

И лицо у него сделалось странное. Точно удивленное. Точно не сам он играл, а с удивлением и восторгом слушал чью-то мастерскую игру.

Но выбор пьес был совсем неладный. После блестяще исполненной прелюдии Рахманинова продребезжал фокстрот, за фокстротом – Скрябин. Потом что-то легкомысленное с неожиданными паузами, во время которых он поднимал обе руки и смеялся, и вдруг снова точно схватывал мелодию двумя руками.

– Это мое, – сказал он.

«Врет!» – спокойно решила Наташа.

Но она была потрясена.

Потрясена тем, что он так великолепно играл, а главное – тем, что он не соврал.

От этого последнего факта ей стало как-то еще беспокойнее с ним, с этим странным мальчиком. Прежде она знала, что он все время лжет, и было уже что-то для нее определенное в

этом облике. Теперь она сбилась. В периодической дроби, которою была для нее душа Гастона, неожиданно появилась новая цифра.

## 11

*Le roi n'a qu'un homme, c'est sa femme.*  
*Mirbeau*<sup>29</sup>

Это был очень странный вечер, вечер, запомнившийся ей надолго.

Перед этим она не видела Гастона дня четыре. И вот – было уже поздно, около двенадцати, и она собиралась ложиться спать, когда в дверь тихо постучали.

Она даже сначала подумала, что ей показалось, так тих был этот стук, но все-таки открыла дверь. За дверью стоял Гастон.

– Я на одну минутку, – сказал он. Вошел, сел, снял шляпу и вытер лоб.

Он был очень бледен. Взглянул на Наташу и странно, по-детски застенчиво улыбнулся. Точно ребенок, который что-то разбил.

– Наташа, – сказал он. – Вы мой лучший друг, мой единственный друг, и вы можете очень мне помочь в одном деле.

Он был такой какой-то расстроенный, что Наташа невольно подняла руку и погладила его по голове. Лоб у него был совершенно мокрый.

Он снова улыбнулся ей тою же улыбкой и продолжал:

– Я вам говорил... я занимаюсь коммиссионными делами. Вот мне поручили продать одному покупателю, очень богатому выходцу из... из Аргентины, одну драгоценность. Но дело в том, что покупатель приедет только через неделю, а я боюсь держать эту вещь у себя. Не потому, что... вы не подумайте... то есть просто я боюсь потерять, или ее могут украсть в отеле. Так вот, я хотел вас просить... заложить эту вещь. Понимаете? В ломбарде она будет в сохранности, за нее отвечают. Это все так делают, когда комиссия. Даже имения закладывают.

Он почувствовал, что что-то неладное выходит, и запнулся.

– А почему же вы сами не можете заложить?

– Я не могу... вы дама, вам удобнее, вещь дамская, браслет. И потом, надо заложить сейчас же, завтра утром, как только откроется ломбард, а я с утра буду безумно занят. Я очень вас прошу. Это, может быть, не деликатно, но вы моя подруга... и я тоже для вас все всегда сделаю.

– А у вас найдутся деньги, чтобы выкупить, когда этот ваш... «выходец»-то приедет? И почему у вас все выходцы?

– Деньги? Да вот эти самые, которые мы получим. Я их спрячу и через неделю, когда тот приедет, и выкуплю.

– Ну что же, – решила Наташа. – Давайте ваш браслет, я заложу.

Он бросил беглый взгляд на дверь и вынул из кармана тяжелый массивный браслет без футляра и даже без бумаги.

– Ого, – сказала Наташа, рассматривая изумруды и бриллианты. – Да он, пожалуй, тысяч десять стоит.

– Наверное, – сказал Гастон. – Мне поручено запросить не меньше пятнадцати. Спрячьте его скорее. Я знал, что не ошибусь в вас. Вы – моя подруга. Правда?

Он посмотрел на нее ласково и был такой измученный, что даже глаза закрывал.

– Мы завтра встретимся лучше всего в кафе, – сказал он. – Приходите в кафе «Версаль»... нет, в «Версаль» нельзя. Приходите к Дюпону... знаете? Войдите внутрь и ждите меня за столиком в углу с правой стороны. Спросите себе кофе или что-нибудь, чтобы не было

<sup>29</sup> У короля единственный подданный – его жена. *О. Мирбо (фр.)*

видно, что вы ждете... потому что... это всегда глупый вид, когда ждут. Вы мне там и передайте деньги.

– И квитанцию?

– Нет. Квитанцию спрячьте у себя. А теперь я пойду... я еще не обедал.

– Как не обедали? – удивилась Наташа. – Ведь теперь, пожалуй, уже двенадцать...

Он словно испугался.

– Двенадцать? Ай-ай-ай! А я пришел... Могут заметить...

– Вы волнуетесь за мою репутацию? – ласково улыбнулась Наташа. – Ну, знаете, в этом скверном отельчике ничем не удивишь.

– Вы думаете? – спросил он задумчиво. – Так до свиданья. Завтра в семь часов у Дюпона. Не забудьте и не перепутайте.

Он рассеянно несколько раз поцеловал ей руку.

– Вы мне самый близкий человек, – сказал он.

«Странно, что он придает столько значения такому пустяку», – подумала Наташа.

Ее гораздо больше интересовало то тревожно-нежное к ней отношение, которое она вдруг почувствовала в нем. Любит ли он ее? Но ведь ни разу до сих пор он ее не поцеловал, не обнял. Чем это объяснить? И чего вообще хочет он от нее? Денег у нее нет, и, кажется, он даже не находит ее очень красивой. По крайней мере, тогда, в первый день знакомства, восхищаясь ею, он ведь все-таки сразу стал вносить какие-то поправки...

«Нужно желтое розовое для щек... – вспомнилось ей. – Ваш жанр должен быть всегда немножко «чересчур»...»

Да, вносил поправки. Значит, не был так потрясен ее красотой. А между тем – ищет ее общества, ходит за ней.

Он хочет, чтобы она была его «*amie*». У французов это слово имеет определенное значение. Но один раз он как-то сказал «*sorine*»<sup>30</sup>... А это уже другое.

Об этом думала она, засыпая, и только на рассвете, в полусне, между сном и жизнью вдруг почувствовала, как толчок в сердце:

«Этот браслет краденый!»

Но тотчас заснула снова.

Утром, выходя из дому, вынула браслет из ящика стола, куда спрятала его на ночь, долго разглядывала его, стараясь вспомнить что-то очень нехорошее, связанное с этой ночью. Но так и не вспомнила.

«Нехорошее» была та самая мысль, которая на рассвете ударила в сердце.

В ломбарде ждал ее приятный сюрприз: за браслет предложили не пятнадцать тысяч, как она собиралась просить, а сорок пять.

«Хорош комиссионер, – улыбаясь, подумала она про Гастона. – Много он в вещах понимает!»

Ей приятно было, что она обрадует его сегодня, и она с нетерпением ждала вечера и побежала в кафе раньше назначенного времени.

К ее удивлению, он сидел уже там.

– Ну что? – спросил он вполголоса.

– Поздравляю вас! – смеялась Наташа. – Вы удивительно опытный комиссионер! Оцениваете вы замечательно верно.

Гастон посмотрел на нее испуганно:

– Вы, кажется, шутите? Неужели не дали даже десяти?

Ей стало жаль его:

– Успокойтесь, милый мальчик, ваш хороший друг умеет дела делать. Вот – получайте.

---

<sup>30</sup> *Amie, sorine* – подруга (*фр.*).

И она торжественно открыла сумку и хотела вынуть деньги.

– Нет, нет, – вскинулся он. – Потом, потом!.. Здесь неудобно. Вы только скажите сколько.

– Сорок пять!

– Что-о?

Он сильно покраснел и, по-видимому, совсем не обрадовался.

– Ай-ай-ай, – пробормотал он. – Начнут, пожалуй, историю. *Des ennuis*<sup>31</sup>.

– Почему? – удивилась Наташа. – Я думала, что чем дороже вещь, тем больше вы получаете комиссионных.

Он посмотрел на нее с недоумением, видимо, совершенно не понимая, о чем она говорит.

Она снова повторила свои рассуждения. Он поморгал глазами и ответил:

– Конечно, конечно. Но дорогую вещь труднее будет продать.

Он стал очень рассеянным, отвечал невпопад и пошел говорить по телефону. Говорил очень долго и, вернувшись, сказал, что у него разболелась голова и он хочет пойти домой и отлежаться.

Наташа обиделась и загрустила. В головную боль она не поверила, а подумала, что он сговорился с кем-нибудь по телефону покутить на эти неожиданные деньги. И грустно ей было, что она так радовалась весь день, думая, что осчастливит его, и надела нарядную шляпу и белые перчатки – так была уверена, что он поведет ее обедать или в театр. А он даже не поблагодарил за услугу. Она хотела упрекнуть его за неблагодарность – она из-за него опоздала на службу, а он даже чашки кофе не предложил. Но он был такой растерянный, что не стоило и разговора начинать.

На улице он кликнул такси и почти молча довез ее домой. Взял деньги, которые она передала ему, вышел вместе с ней и расплатился с шофером.

«Он, верно, хочет подняться ко мне», – подумала Наташа и, так как была обижена, решила сделать вид, что не понимает его намерения.

– Зачем же вы отпустили шофера? – спросила она. – Не идти же вам пешком, раз у вас болит голова?

– Нет, я поеду, – ответил он. – Только хочу взять там, на углу, другой автомобиль.

Он рассеянно поцеловал ей руку и быстро скрылся.

Наташа стала тихо подниматься по лестнице.

Ловко, нечего сказать.

Вспомнился знакомый офицер, который говорил в таких случаях, пародируя восточный акцент: «Харашо, душа мой? Получил об стол мордом».

«Это все грубо и глупо и, в конце концов, даже скучно. И чего ему от меня надо? Чтоб я закладывала для него какие-то подозрительные браслетки? «Комиссионные»! Наверно, просто краденые. Ведь этак можно легко запутаться в какое-нибудь грязное дело. Нужно быть совсем дурой, чтобы не видеть, что этот молодой человек – весьма подозрительный тип. Если он завтра явится, я скажу ему прямо, чтобы он на меня не рассчитывал и что вообще... я не хочу с ним встречаться. Быть героиней какого-то авантюрного романа я не создана».

Хотелось есть – она ведь так и не пообедала.

«А, тем лучше. *Paris vaut bien une messe*<sup>32</sup>. Осталась без обеда, зато отделалась навсегда от этого прохвоста».

Она была очень обижена и на обиде этой, как на прочном цементе, начала спокойно и холодно укладывать свою жизнь.

---

<sup>31</sup> Неприятности (*фр.*).

<sup>32</sup> Париж стоит мессы (*фр.*).

«Пойду завтра к Шурам-Мурам... Надо возобновить уроки английского... В конце августа поеду в Juan les Pins<sup>33</sup>... Скопирую синюю пижаму сама, сделаю ее в ярко-зеленом...»

---

<sup>33</sup> Жуан ле Пен – курортное местечко на юге Франции.



## 12

*Когда от Канта ушел его старый слуга Лампе, огорченный философ записал в записной книжке: «Забыть Лампе».*  
*Кюнофишер Кант*

*«N'y pensons plus ditelle», – depuis elle y pensa toujours.*  
*Chanson<sup>34</sup>*

«Не надо о нем думать. А чтобы скорее забыть, лучше всего быть с людьми, которые никакого отношения к этому темному типу не имеют», – решила Наташа.

Поэтому визит к Шурам-Мурам исключался, хотя они были очень милые и хорошо действовали на настроение.

Вспомнила о ломбардной квитанции и решила тотчас же отослать ее Гастону. Просто, без всякого письма. Улицу и отель она запомнила хорошо. На обратной стороне конверта написала свое имя и адрес. Отправила.

После этого три дня сидела дома, «не потому, что ждала ответа или телефонного звонка, а просто так».

И это «неожидание» утомило и измучило, как тяжелый труд.

На четвертый день письмо вернулось с надписью «Inconnu»<sup>35</sup>... Очевидно, Гастон жил в отеле под другим именем...

Сидеть и «не ждать» стало совсем невыносимо.

Тогда выступил на очередь план: быть с людьми, не имеющими отношения к темному типу.

Вспомнила о мадам Велевич, вышивальщице, работающей и на мастерскую Манель. У Велевич всегда бывал народ, и все такой, из другого мира: бывшие светлые личности – фанатики воскресных школ и волшебного фонаря, учительницы музыки, переводчицы, рисовальщицы по крепдешину, шоферы и дантисты.

На этот раз за чайным столом сидели, кроме самой хозяйки, пожилой курносо-русской уютной женщины, еще трое.

Одного из них Наташа уже встречала. Это был дальний родственник хозяйки. Очень высокий, светло-рыжий, с выражением ржущей лошади на лице, он давно жил в Париже и смотрел на все российские дела – советские и эмигрантские – с наивным и даже как бы веселым удивлением. Был он когда-то кавалеристом, потом служил в государственном коннозаводстве и, вероятно, благодаря этой лошадиной линии своей жизни получил прозвище в память призового жеребца «Отставной Галтимор его величества».

Кроме Галтимора, были две дамы. Одна – маленькая, ядовитого типа старушонка, в старинном корсете и высоком воротничке, подпертом серебряной брошкой-подковой.

Вторая дама, что называется, средних лет, с пухлым, дряблым, очень бледным и как бы дрожащим лицом, в черном грязном платье. Странная дама. И звали ее необычно – Паллада Вендимиановна. И была она, очевидно, очень строгих принципов, потому что, когда хозяйка предложила ей варенья, сделала отвергающий жест и сказала твердо:

– Ни-ко-гда!

И ясно было, что и под пыткой варенья не съест. На Наташу взглянула с отвращением, искренним и нескрываемым.

---

<sup>34</sup> «Не будем больше думать об этом», – сказала она, думая об этом всегда. *Песня (фр.)*

<sup>35</sup> «Адресат неизвестен» (фр.).

– Ну, что нового у вашей Манель? – спросила хозяйка, усаживая Наташу.

– Ах! Вы служите у Манель! – почему-то обиделась ядовитая старушонка.

– Да, я манекен, – ответила Наташа.

– Так скажите вашей Манель, – продолжала обижаться старушонка, – что она платье шить не умеет.

– Вот это здорово! – гаркнул Галтимор, заржал и стукнул ногой.

– Да, не умеет. Моя знакомая дама купила себе костюмчик и потом ко мне переделывать принесла. Спину обузили, юбку обузили и запаса в швах не оставили, так что и выпустить нечего.

Наташа вступилась за честь Манель:

– Ваши дамы покупают в больших домах на сольдах<sup>36</sup> платья, которые не на них шиты, а потом недовольны. Платье сшито на тоненькую фигурку, а в него лезет пятипудовая бабища и обижается, что плохо.

– А почему же не оставляют запаса в швах? На материи выгадывают?

Наташа презрительно пожала плечами.

– Запас? В ламэ<sup>37</sup>? Или в прозрачном муслине? И вообще... запас... Это даже смешно. Платье шьется, чтобы его носили, как оно сшито...

– Ха-ха-ха! – веселился Галтимор, переводя вопросительно-веселые глаза с одной собеседницы на другую.

– Ужас! – воскликнула Паллада Вендимиановна, оттолкнула чашку, расплескав чай, откинулась на спинку стула и закрыла глаза.

Все переглянулись.

– Паллада Вендимиановна недавно приехала из России, – смущенно объяснила хозяйка. – И вот все не может привыкнуть к нашей жизни.

– И никогда не привыкну! – истерически крикнула Паллада. – Н-не могу! Задыхаюсь! Разве это люди? Это... ламэ! Ламэ! Где чудеса любви? Чудеса самоотвержения? Восторг муки?

Галтимор оглядывал всех, точно спрашивал – пора ли смеяться.

– Я уже семь месяцев здесь! – задыхаясь и дрожа лицом, кричала Паллада. – И я изнемогаю! Варенье... ламэ! Ха-ха! Ламэ! Люди что-то шьют, работают, получают деньги, едят, спят сколько полагается. Покупают все, что им нужно... Учатся спокойно... Купит книжку и учится. Ха-ха! Где восторг? Где подвиг? Где чудо?

– Позвольте, – вступила ядовитая старушонка. – При чем здесь чудеса? Чудеса в религии, а не в том, что я полфунта сахара куплю.

– Да, у вас – да. У вас так, – совсем бешено отвечала Паллада. – А у нас – чудо на каждом шагу. Петр Никанорыч шел по улице и видел – везут Алавердова и Матохина. Везут арестованных на расстрел. И все, конечно, отворачиваются и делают вид, что не узнают. А Петр Никанорыч поднял руку, перекрестил их, снял шапку и поклонился до земли. Малый подвиг, скажете вы. Нет, великий. Его расстрелять за это могли. За этот поклон, за этот крест он жизнью своей платил. Да, да... Видела я: девочка, маленькая девочка, худая, синяя, несет в черепочке немножко патоки – это ей выдали на паек. Идет осторожно и все на патоку смотрит, как бы не пролить. И вот подходит к ней старушка и говорит: «Девочка, мы с тобой старые да малые, слатенькое любим». Так и сказала: «слатенькое». А девочка говорит: «Что же, бабушка, лизни пальчиком, я для тебя не пожалею». И старушка обмакнула палец и пососала. Конечно, это малое чудо любви. Но я видела голубой свет над ними, над их головами... Голубое излучение...

Лицо у Паллады побледнело еще больше, судорога оттягивала углы рта.

---

<sup>36</sup> Распродажа (*искаж. фр.*).

<sup>37</sup> Сорт ткани. – *Ред.*

– Есть у Мицкевича в «Дядах»... Души умерших детей просят, чтобы дали им горчичное зернышко, потому что не вкусили они при жизни горечи и не могут попасть в рай... Наши дети горчичными зернами вскормлены, а единственный свой черепочек грязной патоки другим отдадут. Да. Церкви закрыты, религии нет. Но звон колоколов невидимо гудит под землей, и сам Христос приходит приобщить умирающих.

– Ха-ха-ха! – свежо и бодро заржал Галтимор так неожиданно, что все вздрогнули. – Вот так большевики! Какой камуфлет! Уничтожили религию и основали фабрику святых! Ха-ха! В ударном порядке, безо всякой пятилетки, лучший завод в государстве, в планетарном масштабе и работает по двадцать четыре часа в сутки? Ха-ха!

Галтимор веселился.

– Нет, действительно, ну на что им церкви? Святым-то?

Паллада, ухватившись за сиденье своего стула, повернулась всем телом прочь от Галтимора.

– Жалею, что говорила перед вами... перед таким... – срывающимся голосом сказала она. Все смущенно молчали.

– А мне гадалка нагадала, что я скоро поплыву на родину, – сказала Наташа.

– Значит, тоже в святые? – не желая сдаваться, вставил Галтимор, но уже не так браво, как раньше. – Такая хорошенькая святая – воображаю, какие толпы будут сбегаться к вам на поклонение!

Ехидная старушонка покосилась на него неодобрительно.

– И все это пустяки, – сказала она. – У нас тоже делают хорошие дела. Сколько угодно. Всякие комитеты и все что угодно. Моей сестре Розенталь пожертвовал швейную машинку. И вовсе он не святой, а просто добрый человек и богатый. И никто не плачет и не умиляется.

Хозяйка почувствовала, что надо и ей как-нибудь вступить в разговор.

– По правде говоря, – сказала она, – у нас действительно большая распущенность. Конечно, я не возражаю, комитеты... Но любви к другу и жалости – этого я не наблюдала.

– Да чего же жалеть-то? – вступил Галтимор. – Наряжаемся, пляшем, ходим по ресторанам. Вот позвал меня вчера князь Чамкидзе, товарищ по полку, в их кабак. Он – метрдотелем. Битком набито, и все почти русские. А ведь цены умопомрачительные. Видел там нашу неуываемую Любашу Вирх с какими-то юнцами, дансерами. Тоже профессия – эти дансеры. Существа, грациозно изгибающиеся, между альфонсизмом и уголовщиной.

– Она была с французами? – задыхнувшись, спросила Наташа, сама не отдавая себе отчета, почему спрашивает и почему волнуется.

– Нет, с нашими, отечественного производства фруктами.

– Ну, я ухожу, – неожиданно поднялась Паллада и, ни с кем не прощаясь, пошла в переднюю.

– Кликуша! – мотнув ей вслед головой, шепнула хозяйка.

Наташа поднялась тоже. Ей почему-то стало тоскливо и беспокойно.

– И вы? – всполохнулся Галтимор и, внимательно посмотрев на Наташины ноги, предложил ее проводить.

– Вам нельзя идти одной, еще кто-нибудь пристанет.

– И все это ерунда, – вдруг заявила ядовитая старушка. – Ведите себя прилично, так никто к вам и не пристанет. Я постоянно одна хожу. По сторонам не смотрю, иду, и никто никогда ничего себе не позволил.

Галтимор обвел всех недоуменно-радостным взглядом.

– Пойдемте вместе, – сказала Наташа старушонке. Ей не хотелось идти с Галтимором.

– Охотно, – ответила та. – Смотрите-ка, у вас синенькое пальто и у меня синенькое. Подумают, что мы две сестрички.

Наташа рассеянно молчала. Она думала о том, что, куда бы она ни пошла, все равно везде будут говорить о Гастоне. И она была бы очень удивлена, если бы ей объяснили, что о Гастоне, в сущности, не было сказано ни одного слова...

## 13

*Несчастье бросает тень вперед...*  
**Тэффи. «Предел»**

*Все божественной игрою рождено и суждено...*  
**Ф. Сологуб**

Фифиса была маникюрша отменная. К Наташе ходила по воскресеньям: в будни Наташе было некогда.

– Ну, что нового? Давно не видали нашу красавицу? Я про Любашу...

Фифиса даже ножницы уронила.

– Ох, милая моя! Ну и дела! Уж не следовало бы говорить, да вам ведь можно. Была я там третьего дня. Вызвала меня, значит, ногти делать. Ну, пришла я, а самой-то еще нету. Вижу, все благополучно, еврейный лакей двери отпирает, новая собачка бегаёт, хорошенькая, как купидон. Цветов всюду наставлено гибель, по комнатам англичанка ходит, за прислугами смотрит. Ну, значит, все слава богу, взят, значит, американец за зебры.

Ну я, значит, в будуарчике села, инструменты достала – жду. И вдруг неожиданно-негаданно – звонок, является сам фон-барон, а он теперь, я знаю, за городом работает. Ну, поздравился, он меня любит, «я, – говорит, – Анфиса Петровна, только Люлечку дождусь, меня в город по делу прислали, и нет ли чего пожевать». Ну и предложила я наскоро яишненку сварганить. И так он простодушно сказал: «Сварганить так сварганить». Ну, я живым манером, раз-два все ему в столовой на уголок стола поставила – сидит ест. А сама принесла горячей воды, села в будуарчик – жду. И минутки не прождала – влетает моя барынька, веселая, ну прямо купидон. «Живо, – кричит, – Фифиса, я тороплюсь». И не успела она шляпу снять, как слышим – звонок. И вбегает в комнаты, прямо в будуарчик, этот пузан, американский черт. Рожа вся на сторону, губы лиловые, как у медведицы... Не здоровается ничего и прямо: «Я, – говорит, – сам видел, как вы подъезжали и кто вас провожал», – рожа такая наглая. По-французски говорит – баронесса-то по-американски ни кукареку, как и мы, грешные. Баронесса себя сдержала и говорит: «Это что же значит?» – «А то, – говорит, – значит, что вы, верно, стареть начали, что за мальчишками бегать стали». Ведь это подумать только – такой богатый человек и такие простые слова произносит! Тут баронесса спокойно говорит: «Уходите вон и не смейте возвращаться». А он губы распялил и: «Сами позовете!» Подумать только! И ведь ушел! В передней дверь хлопнул. Только погодите, дело-то еще только начинается. Он, значит, дверь хлопнул, а с другой стороны, слышим, точно кто заикается: «А-а-а... а-а-а...» Оборачиваемся – барон! Лицо задрал – одни ноздри, и в бороде кусок яичницы трясется. Хочет что-то выговорить и не может. Ну до того страшно! Я чего-то особенно этой яичницы в бороде испугалась. Последние, думаю, времена наступили. А баронесса побелела вся, однако смеется: «Грива, Грива, ты чего?» А он все заикается и вдруг: «Кто это у вас сейчас был?» А она, верите ли, растерялась! Ну кто бы подумал! Такая баба умница... Ну сказала бы: «Кто был, того нет» или... мало ли как. А она только «Грива» да «Грива». Тут уж я набралась духу и говорю: «А это, разве не знаете, один тут старичок блаженненький». Тут она немножко в себя пришла и говорит: «Чего ты? Не понимаю. Это нужный человек, он мне помогает на бирже играть». А тот опять за свою волюнку: «А-а-а, а о ком он говорил?» А баронесса смеется. «Представь себе, – говорит, – этот старый шут, кажется, в меня влюбился... И во всяком случае, ему, по-видимому, обидно, что я каталась с Верочкой и ее мужем, а его мы в свою компанию не принимаем». Ну и затарантила... Гляжу – он и отошел, улыбаться стал. Потом попрощался и пошел. Все, кажется, обошлось, а тут опять комедь. Баронесса моя глаза закатила, да как завизжит: «Боюсь, боюсь, боюсь!»

Ногами бьет, всю ее корчит... Уж и намучилась я с ней – и водой, и одеколоном, – прямо всю даже ботэ<sup>38</sup> с лица смыла, – потом, как пришла в себя, к Кева звонила, скорее мамзель с красотой прислать. И чего она так – понять не могу. Я уж допытывалась, что не того ли она боится, что американец совсем ушел и деньги унес. Так она даже улыбнулась. «Я, – говорит, – его сама больше на порог не пущу. Уж если человек смел таким тоном заговорить, так такой человек больше никуда не годится. Он как яблоко с червем, не знаешь, как кусить, откуда пакость вылезет». Со мной-то она откровенна, знает, что я никому никогда... Целый день по домам ходишь – мало ли чего наслушаешься, если начать сплетни разносить, тоже хорошего мало.

– Чего же она испугалась? – спросила Наташа.

– А кто ее знает. Мне уж даже в голову пришло – да уж очень как-то невероятно, – неужели она испугалась, что барон что-то понял? Неужто он и впрямь ничего не знает! Тут перед самым его носом такая, как говорится, щепетильная жизнь, и вдруг он ничего не замечает. Воля ваша – поверить трудно. Что ж он, уже совсем идиот, что ли?

– А может быть, так любит, что не хочет видеть? – задумчиво сказала Наташа.

– А если не хочет, так чего же вылез? Чего ноздри раздул? Ну и дела! И до чего же все это было страшно! Ну, думаю, бог с ними и с деньгами. Не пойду больше к ним ни за что, еще в свидетели попадешь. Ну, однако, вчера все как будто утихомирилось. Американец три корзинищи роз приворотил. Она его и на порог не пустила – верно, этого самого червя боится, хю-хю-хю! Ну и дела! Я, между прочим, думаю, что у ней, пожалуй, какой-нибудь другой ерш на прицепе, а то бы так не фыркала...

\* \* \*

Если бы все всё время не говорили о Гастоне, Наташа давно бы его забыла.

Но о нем говорил у Велевич отставной Галтимор, потому что упомянул о Любаше, а у Любаши была стофранковка с зеленым пятном, происхождение которой так и осталось невыясненным. О Гастоне говорила Фифиса, потому что опять-таки рассказывала о Любаше. О Гастоне говорили собственные Наташины руки, потому что Гастон советовал подкрасить ногти...

Внешне жизнь текла обычно и ровно. В мастерской спешно сдавали последние заказы, назначили день для сольд, манекены и продавщицы толковали между собой о каникулах и о том, кто куда поедет.

Манекен Вэра вела себя загадочно, о своих планах никому не рассказывала, но давала понять, что все, может быть, удивится. Мосье Брюнето был погружен в работу по уши. Он непритворно хлопотал, разъезжал, звонил по телефону, рылся в счетах и торговых книгах.

Что касается мадам Манель – то тут появилось нечто новое. Появилась неожиданная почти нежность к Наташе. Она кивала ей головой, улыбалась, любовно поправляла ей локоны и всячески выделяла из общей стаи легконогих девиц. В своей тоске и тревоге Наташа почти не замечала этой лестной для нее перемены. Дело в том, что в мастерской тоже говорили о Гастоне, потому что говорили о дансерах, а о дансерах говорил Галтимор, когда рассказывал, что встретил Любашу. И говорили о ночных ресторанах, и она вспомнила тот вечер, когда увидела его «с покойным другом» его отца.

Она «прекрасно сознавала, что ни капельки в этого типа не влюблена», но он внес в ее жизнь что-то ядовито-тревожное, замутил, как морская сепия, воду ее жизни, и в этой черной воде где-то шевелилось чудовище, которое погубит ее, и она не видела его и имени его не знала, но чувствовала, что оно здесь, и плакала во сне...

Так прошло время. И настал день...

---

<sup>38</sup> От *beaute* (фр.) – красота.

## 14

*Tes pleurs coulaient pour moi,  
ma lèvre a bu tes pleurs.*  
**Anatole France**<sup>39</sup>

*Je t'apporterai un jeune pavot  
aux pétales de pourpre.*  
**Theocrite. Le Cyclope**<sup>40</sup>

– Такая, я тебе скажу, живодерность в них сидит, во всех до единой, в этих ангелах, – то, без которых жить-то нам невозможно!  
**Ф. Достоевский.**  
**«Братья Карамазовы»**

Она только что пришла из мастерской, когда он постучал к ней в дверь и, не ожидая ответа, вошел.

Наташу поразил его возбужденный, почти безумный вид. Щеки горели, запавшие глаза были красны и лихорадочно томны.

– Я уже два раза был здесь сегодня, – сказал он. – Ходил, ждал перед вашей мастерской и не видел, как вы прошли.

Он вдруг опустился на колени, схватил Наташины руки, прижался к ним лицом и заплакал. Наташа вся затихла и ждала. Ей самой было странно, что вся истерическая тревога последних дней вдруг отошла от нее, и это неожиданное и такое удивительное появление Гастона не взволновало и именно не удивило ее, а, напротив, как-то чудесно успокоило.

Он поднялся, встал рядом с ней заплаканный, как ребенок, с припухшим ртом.

– Наташа! – говорил он. – Вы одна у меня на свете, вы – единственное существо, которое можно и надо любить. Вы не знаете, какие есть подлые, низкие души. Они не успокоятся, пока не сделают из вас негодяя... Нет, этого им мало! Они хотят сделать из вас самого черта, и тогда... тогда отшвырнут его... потому что с ним стыдно показаться, все видят его рога и копыта...

Он снова зарыдал.

Наташа ласково гладила его по голове.

– Вас обидели, бедный мой мальчик? – спросила она.

– Наташа! – бормотал он. – Наташа, полюби меня, удержи меня около себя, не отпускай. Я люблю тебя... Будем вместе с сегодняшней ночи навсегда...

Он плакал и целовал ее солеными от слез горячими губами.

– Я не уйду от тебя сегодня... Ты не прогонишь меня? Я такой несчастный... Я пришел к тебе навсегда... Ты не оттолкнешь меня?

– Нет, – ответила Наташа очень серьезно и грустно. – Нет. Я ждала тебя.

\* \* \*

Уже светало. На улице гремели жестянки мусорщиков. Постукивая глухим звонком, прошел трамвай.

---

<sup>39</sup> Твои слезы текли для меня, мои губы выпили твои слезы. *Анатоль Франс (фр.)*

<sup>40</sup> Я принесу тебе свежий мак с пурпурными лепестками. *Феокрит. «Циклон» (фр.)*

Гастон спал, закинув голову, стонал и метался во сне.

Наташа нагнулась к его лицу. Оно пылало...

«Он болен?»

Она провела рукой по его лбу. Он открыл мутные, красные глаза и со стоном закрыл их снова.

– Ты болен, Гастон?

– Ужасно болит голова...

Она встала, поправила ему подушку, прикрыла его одеялом, села рядом на стул и долго, жадно рассматривала его.

Вот он – этот неведомый и жуткий, так странно вошедший в ее жизнь. И во сне у него то же детское пухлое лицо, рот обиженного ребенка, нежная молодая шея. И вдруг она вздрогнула: на подушке рядом с этим милым лицом лежала его рука, огромная, с далеко отставленным, непомерно длинным большим пальцем.

Рука душителя!

Вспомнила чьи-то слова: «Вы и не знаете, сколько бродит по Парижу всяких извращенных, больных людей, чудовищных эротоманов, садистов, душителей. В таком большом городе им легче спрятаться...»

Что она знает о нем, об этом мальчике? Кое-какие догадки, очень нехорошие... Как могло случиться, что она оставила его у себя? Какое-то наваждение...

Гастон вздрогнул. По лицу его пробежала судорога ужаса, и с невыразимой тоской отчетливо сказал он по-немецки:

– Ich habe Angst, Mama! (Мне страшно, мама!)

Наташа вскинулась, точно это ее позвал он на помощь, охватила обеими руками его плечи.

– Мальчик мой, бедный заблудившийся мальчик! Я не оставлю тебя!

И в этом слове «мальчик мой» определилась, вылилась в него, как в форму, и отвердела ее любовь.

Женская любовь очень отлична от любви мужской. Мужчина почти всегда знает, кого любит. Он, конечно, может преувеличивать достоинства или недостатки любимой женщины, но тот облик, который он любит, есть облик истинный, украшенный или слегка искаженный, но настоящий.

Он любит свою жену или любовницу, Марию Петровну – докторшу, а не Валькирию, или Елену Павловну – актрису, а не «крошечного котеночка». Женщина, если только она не совсем тускла духовно, берет любимого человека как тему, которую разрабатывает сообразно своему свойству любить. Есть женщины, создающие из любимого человека непременно великого героя, будь он при этом хоть аптекарский помощник. Есть – ищущие и находящие рыцаря духа в коммивояжере, исключительно своему скромному делу преданном, есть, наконец, – и это самый горький и самый подвижнический лик любви – любовь к возлюбленному материнская. В форму, создаваемую ею, свободно вливаются и отъявленные негодяи – их остро жаль как заблудших, и люди глупые – глупость умиляет, и ничтожные – ничтожные особенно любимы потому, что жалки и беспомощны, как дети.

Любовь к героям самая яркая, но зато и самая хрупкая. Она с трудом прощает ячмень, вскочивший на глазу героя, его неудачную остроу. Любовь к рыцарю духа, восторженная и чудесная, тоже не очень прочна. Она почти всегда обречена на разочарование. И никакой фантазией не сотрешь карточные долгишки, служебные интрижки и всяческую «смену вех»!

Любовь материнская простит все, все примет и все благословит.

«Мальчик мой!» – сказала Наташа, и обрекла себя, и заплакала от боли и счастья.

Она встала, приготовила чай, напоила Гастона. Он молча выпил несколько глотков, взглянул на нее мутными глазами, улыбнулся ласково и жалко и снова заснул.



Пора было идти в мастерскую. Но как его оставить такого?

Попросила коридорного позвонить к Манель и сказать, что у нее грипп.

Целый день присидела она около него, жадно прислушиваясь к его сонному бормотанию. Иногда ей казалось, что она улавливает какие-то нефранцузские слова. Но ничего, кроме той фразы: «Ich habe Angst, Mama!» – так и не расслышала.

Под вечер он пришел в себя, жаловался на головную боль и ломоту.

– Я не могу уйти от тебя, Наташа, я слишком болен.

Она счастлива была, что он не может уйти. Хотела устроить его поудобнее и предложила съездить к нему в отель за бельем и пижамой.

– Нет, туда не стоит, – сказал он. – Лучше съездить на Северный вокзал, там у меня чемодан на хранении. В нем все есть.

Она очень удивилась. Разве он собирался уезжать?

– Потом... – устало сказал он и закрыл глаза.

Вечером он дал ей квитанцию, и она съездила за чемоданом. Оказалось, что он был отдан на хранение еще две недели тому назад.

– Может быть, там окажется какая-нибудь женщина, разрезанная на куски... – посмеивалась Наташа. Посмеивалась, но не было ей ни спокойно, ни весело.

В чемодане, однако, никаких ужасов не оказалось. Было белье, платье и башмаки.

Гастон, полузакрыв глаза, смотрел, как она доставала его вещи.

– Это для любительского спектакля, – пробормотал он вдруг.

– Что – для спектакля? Платье?

– Усы, – ответил он сонно.

Она не поняла, о чем он говорит, и, только вынув все, увидела на дне завернутые в папиросную бумагу маленькие прядки волос. Это были накладные усыки.

На другой день он почувствовал себя лучше, надел какую-то невероятную пижаму в синих павлинах, зеленых драконах и золотых цветах, волнующую и знойную, как восточный сон, и сидел на кровати среди подушек томный, как принц из персидской сказки.

Горничная, убирая комнату, лукаво на него поглядывала, и он улыбался ей, и веселые ямочки дрожали около его рта.

– Почему ты держал чемодан на вокзале? – спросила Наташа. – Ты собирался уехать?

– Да, кажется, собирался. Впрочем, нет. Я просто менял квартиру, и так вышло удобнее всего.

Он уже не был экзальтированно-нежен, как вечером. Но был очень ласков и много рассказывал всякой ерунды, которая волновала Наташу.

Рассказывал, что у него был брат Жак, очень дурной мальчик. Когда Жаку было шестнадцать лет, он влюбился в цирковую наездницу и все придумывал, как бы раздобыть денег. Он знал, что к женщинам с пустыми руками не являются.

– И знаешь, что он сделал? Пришел к отцу портной примерять костюм и оставил в передней свою бровную шапку. Пока он примерял, Жак успел сбегать и заложить эту самую шапку! И никогда никто об этом не узнал, ха-ха-ха!

– А ты же, однако, знаешь, – заметила Наташа и поняла, что брат Жак – это и есть он сам. И потом, много раз слыша о подвигах брата Жака, уже знала, что он рассказывает о себе, но никогда о своей догадке Гастону не говорила.

Через два дня пришлось Наташе пойти на службу. Она боялась, что Манель, обеспокоенная ее долгим отсутствием и болезнью, пришлет какую-нибудь из своих девиц навеститься, и выйдет неловко, если застанут ее здоровую в обществе такого восточного попугая.

Какое милое тепло в сердце – возвращаться к себе, когда знаешь, что тебя ждут!

– Мой мальчик, мой милый, нехороший мальчик!

По дороге забежала в магазин, купила ленты для своего халатика – надо быть элегантной. Купила на обед жареного цыпленка, винограда и вина.

Подходя к дому, взглянула, улыбаясь, на свое окно. Оно было темно.

– Мальчик спит...

Тихонько открыла дверь, повернула выключатель... Комната была пуста. Огляделась: чемодана тоже не было. Значит, ушел совсем. Ни записки, ничего.

– Мосье ушел уже давно, перед завтраком, – ответил коридорный на спокойный вопрос Наташи.

Это спокойствие она очень долго подготовляла, уткнувшись лицом в подушку.

## 15

*...Qu'importent les trahisons,  
Des lèvres que nous baisons,  
Si ces lèvres sont jolies?..<sup>41</sup>*

### *Французская песенка*

*Соболиное одеяло  
Не согреет мою белу грудь...*

### *Русская песня*

То, что Наташа считала исключительным, и немислимым, и неповторимым, пришло, и повторилось, и основалось как новый быт ее жизни.

Гастон вернулся через два дня, бледненький, худой.

Это было воскресенье, и Наташа сидела дома.

Он с милой, смущенной улыбкой поцеловал ей руку и прилег на постель, полузакрыв глаза.

– Ты еще болен, Гастон? Зачем же ты ушел тогда? И ничего не сказал? Зачем же ты так делаешь?

– Я почувствовал себя лучше и не хотел больше стеснять тебя.

– Отчего же не оставил записки?

– Ах, терпеть не могу! Я же знал, что скоро приду и что ты будешь рада. Ведь ты рада?

Она была рада...

И много раз приходил он так и уходил всегда неожиданно. И, уходя, не оставлял никакого знака, никакого следа своего пребывания. Он иногда курил, но ни разу не находила Наташа окурка в пепельнице. Неужели он уносил их с собой? Он не написал ей ни разу ни одной записки.

Иногда ей казалось, что его вообще нет на свете, что она сама его придумала.

Приходил, уходил. Иногда оставался у нее по два и даже по три дня, иногда полчаса – и уходил дней на пять.

Так перебоями, как больное сердце, билось ее странное счастье.

Были минуты, о которых она много думала потом, когда наступили беспощадные дни ее жизни. Была одна ночь. Вся в снах, неуловимых и тоскливых. И от тоски этих снов проснулась Наташа и с плачем обняла своего теплого сонного мальчика и по-русски, по-бабьи, запричитала над ним:

– Мука ты моя, любимый мой! Ничего я о тебе не знаю. Откуда ты? Кто ты? Куда тянешь меня? И спрашивать не хочу. И знать не хочу – только больнее будет, потому что все равно уйти от тебя не смогу.

Гастон лежал тихо. Ей показалось, что он что-то понял... Он повернул к ней лицо, бледное в мутном рассвете, и сказал:

– Вы очень нервная, Наташа. Зачем вы плачете? Я знаю, что вы меня очень любите и никогда не оставите и, если нужно будет, поможете во всем. Вы моя настоящая подруга, какая мне была нужна.

---

<sup>41</sup> Что такое измены, если губы, которые мы целуем, – прекрасные губы? (*фр.*)

И еще вспомнила она свой истерический порыв.

Был душный вечер. Они сидели рядом обнявшись, не зажигая огня. Сладкий и томный запах его духов, всегда беспокойный, к которому привыкнуть нельзя, и тонкий золотистый аромат ветерка, падавший откуда-то сверху, точно это был запах звезд, волновали горько и страстно.

– Мальчик мой, – сказала Наташа.

Она называла его «Госс», выходило что-то вроде сокращения от Гастона.

– Мальчик мой! Хочешь, мы расскажем сегодня друг другу всю свою жизнь, все без утайки. Откроемся друг другу до дна, и это соединит нас. Я никому о себе не рассказывала. Я в первый раз в жизни хочу отдать себя всю. А ты хочешь?

– Да. Хочу, – ответил он равнодушно.

Она крепко прижалась к нему и, закрыв глаза, стала исповедоваться...

– Теперь ты Расскажи мне о себе. Все. Понимаешь? Так же, как я.

– Хорошо, – сказал он, потянулся к столу, закурил и начал:

– Отец мой был выходцем из Америки и женился на датчанке княжеской крови...

Наташа дальше уже не слушала. Она горько смеялась, глотая слезы, гладила его по голове и шептала прерывающимся голосом:

– Да, да, мой мальчик, да... княжеской крови... Я слушаю тебя... рассказывай... да, да!..

Он долго тянул какую-то ерунду о каком-то миллионном наследстве, о какой-то испанской графине, влюбившейся сначала в его отца, потом в него самого...

– Да, да, – повторяла Наташа, сжимая себе горло рукой, чтобы не разрыдаться громко. – Бедный мой, заблудившийся мальчик! Да... да...

И еще вспоминала она разговор в ресторанчике, за завтраком.

День был серенький, спокойный. За окном дрожал мелкий невидимый дождь.

Два красных квадратных француза ели телячьи головы. Меланхолический лакей в грязном переднике смотрел на облака и не отзывался на оклик.

Все было так просто, буднично, бестревожно. И тот ужасный вопрос, который Наташа готовила столько дней и ночей, вдруг прозвенел так спокойно, естественно и просто, что она сама удивилась:

– Скажи, мальчик, у тебя так много всяких знакомых – не встречал ли ты русскую баронессу Любашу Вирх?

Гастон лениво переспросил:

– Кого?

– Любашу Вирх.

– А какая она?

– Немолодая... очень раскрашенная, рыжеватая...

Он пожал плечами.

– Дорогая моя, я столько видал всей этой шушеры, всех этих русских poules<sup>42</sup>, что, право, даже не помню, у какой из них какая рожа. Но имени, которое ты назвала, я, кажется, не слышал. Верно, что-нибудь не особенно значительное.

Они уже заговорили о другом, но Наташе захотелось снова вернуться к той же теме. Слишком долго думала она о ней, слишком много представляла себе этот разговор, чтобы не насытиться вдоволь преодоленным и нестрашным. Так ребенок, долго боявшийся погладить кошку, потом, радостно смеясь, тянется еще и еще.

– Скажи, Госс, ты вообще не любишь женщин этой категории?

---

<sup>42</sup> От poulette (фр.) – курочка (жаргон).

– Проституток? Нет, не люблю, – ответил он лениво. – Это же скучно. Вообще всякое ремесло скучно. Я лентяй, сам не люблю работать и даже не люблю смотреть, как другие работают. Мне за них лень.

– Да, мне тоже казалось, – продолжала Наташа, все не желая отходить от темы. – Мне казалось, что эти продажные женщины неинтересны.

Он улыбнулся странно, как-то снисходительно и в то же время злобно.

– Да, когда они продаются, они неинтересны. В этом ты права. Но если сможешь заставить такую женщину полюбить...

У него голос пресекся, так что он даже дотронулся до горла.

– ...Заставить полюбить, то нет в мире счастья, равного тому блаженству, которое она может дать!

Он чуть-чуть побледнел, словно сразу осунулся, и на лицо его медленно наплывало то выражение удивления и восторга, которое Наташа видела у него, когда он играл Рахманинова.

– Ты... – пролепетала Наташа, – ты... зна... знаешь это?

Он обернулся к ней, точно не сразу понял, кто с ним говорит:

– Я? Нет, нет. Я ровно ничего не знаю.

Этот разговор она потом, в другие дни, вспоминала чаще всего.

\* \* \*

Думая о Любаше, ища ее в жизни Гастона, Наташа не ревновала его, и не ревность заставила ее задать наконец мучивший ее вопрос. Этого горького хлеба она еще не вкусила, он еще хранился где-то на полочке...

Одно волновало ее – все одно и то же: уловить нити, найти, понять, узнать, кто ее любовник. Не для того, чтобы успокоиться – пусть он даже окажется беглым каторжником. Просто хотела из тумана тревог, догадок и подозрений выйти наконец на определенную дорогу и идти по ней с открытыми глазами – на позор, на гибель, но видеть и знать все.

А он приходил неведомо когда, уходил бесследно, как галлюцинация.

После его болезни повелось так, что он сразу ложился, а она хлопотала вокруг него, поила его чаем, бегала за папиросами. Сначала потому, что он действительно был слаб, потом вошло в обычай.

Нехороший обычай.

Люди часто не представляют себе, какое огромное значение в их взаимоотношениях имеет та или другая «обычная поза». Как она отражается в самых тайных глубинах души.

Мужчина, ходящий большими шагами по комнате, заложив руки за спину и круто поворачиваясь на каблуках, какую бы ахинею он при этом ни нес, – он диктует свои директивы, он умница, в том, кто сидит и слушает, – его душевная поза – приниженность, внимание, робкое любование.

Человек лежит на диване и говорит томно:

– Передайте мне, пожалуйста, спички.

Другой идет за спичками, приносит, подает, если уронит – поднимает. Он служит первому, нежному, хрупкому, будь тот хоть девяносто кило весу, с бычьей шеей.

Человек сидит в кресле, заложив ногу за ногу, чуть-чуть этой заложенной ногой покачивает, медленно затягивается папироской, отпятив вбок подбородок.

Другой – вертится на стуле, вскакивает, ерошит волосы, путает слова.

Душевная поза первого: спокойный, мудрый джентльмен, для которого вопрос давно ясен.

А между тем именно сумбурная беспокойная путаница в его тупой башке так поджаривает пятки его умного и дельного партнера.

И не думайте, что дело здесь просто и чисто внешне.

Нет. У нас есть глубокая психологическая привычка искать за формой обычного для нее содержания, и мы непременно должны сделать некое усилие, «дерзнуть», разбить эту форму, отбросить ее, если почуем, что она лжива, и всегда идем на это «дерзание» с трудом и неохотой.

Если вы встретите осанистого старика с великолепной бородой, мудрыми бровями и репутацией крупного общественного или государственного деятеля – как трудно, как до жестокости тяжело будет вам признать, что перед вами просто старый дурак...

Но – довольно об этом.

Гастон всегда валялся. Наташа вокруг него суежилась.

## 16

*L'irritation compose l'atmosphère de toute vie commune, où Dieu n'est pas.*  
**Fr. Mauriac**<sup>43</sup>

*L'esprit de la plupart des femmes sert plus à fortifier leur folie que leur raison.*  
**La Rochefoucauld**<sup>44</sup>

В мастерской начались новости: манекен Вэра укатила в отпуск, прихватив с собой без спроса несколько платьев и купальных костюмов. Прислала из Juan les Pins довольно наглое письмо, что она это сделала в интересах фирмы, так как будет демонстрировать туалеты на пляже.

Мадам Манель, которая рассчитывала на эти вещи для подготовлявшейся дешевой распродажи, очень расстроилась, а от наглости Вэра даже растерялась.

Когда Наташа рассказала об этой истории Гастону, он деловито задумался и сказал:

– Видишь, как это все просто! Советую тебе сделать то же самое. Мы поедем куда-нибудь купаться, и тебе нужно быть прилично одетой.

– Может быть, тогда лучше попросить у мадам Манель разрешения?

– Ерунда. Если будешь просить – наверное откажет. Можешь ей потом прислать очень любезное письмецо, что, мол, ее туалеты пользуются большим успехом и ты уже набрала много заказов. Она теперь такая ошалелая, что ничего не разберет и еще сама тебя благодарить станет.

– Отчего ты думаешь, что она ошалелая?

– Ну вот! Весь Париж знает. Брюнето с ней разошелся. Бедная крошка страдает – ха-ха-ха! Рекомендуй меня в директора, а? Hein?<sup>45</sup>

– Мне не нравятся такие шутки, – сказала Наташа.

– Тогда я повторю это серьезно. Так тебе больше понравится?

«Почему я так уродливо связала свою жизнь с этим мальчишкой? – думала Наташа. – Он глуп, он нечестен... Зачем мне все это? Если бы я завела просто пуделя, я не была бы так одинока, как с ним».

Гастон, по-детски надув верхнюю губу, старательно подпиливал ногти. Наташа взглянула на него, и бессмысленная жалость, как теплые слезы, залила ее душу.

– Бедный, заблудившийся мальчик. Госс! Отчего ты сегодня такой бледный? Может быть, ты не ел?

\* \* \*

В конце августа Гастон сказал, что должен ехать по делу в Берлин, и предложил Наташе сопровождать его.

– В Берлине я получу деньги, и мы поедем купаться в Остенде. Хочешь? Только сделай махинацию с костюмами, о которой мы говорили. Но не бери ничего вызывающего. Ты должна

---

<sup>43</sup> Раздражение является атмосферой всей общественной жизни там, где нет Бога. *Фр. Мориак (фр.)*

<sup>44</sup> Ум большинства женщин служит им больше для того, чтобы защищать их выдумки, нежели доводы разума. *Ларошфуко (фр.)*

<sup>45</sup> Хорошо? *(нем.)*

быть барыней, дамой из лучшего общества. Очень глупо выделывать из себя кокетку – только отпугивать людей.

– Что это ты, точно торговать мной собираешься? – раздраженно сказала Наташа.

Он надулся.

– Ты все понимаешь чрезвычайно глупо.

После этого он скоро ушел и не показывался два дня. И за эти два дня Наташа «одумалась». Действительно, к чему эта русская растяпость? Почему, когда Вэра уволокла костюмы, никто ее не презирает и преступницей не считает? В жизни надо уметь изворачиваться. С чем она поедет в Остенде? С одной пижамой собственного производства и буржуазно-пресным полосатеньким трико. Щеголять такой тетенькой рядом с молодым элегантным мальчиком!.. Нет. Риск слишком велик.

Вопрос о костюмах был разрешен быстро и бесповоротно.

На всякий случай она посоветовала Манель в этом году открытой распродажи не делать. Может, раздать кое-что по рукам. Придумала комбинацию: скажет, что сдала выбранные ею туалеты для продажи, а когда вернется из Остенде, возвратит их Манель и скажет, что покупатель не нашла. А может быть, кое-что из платьев и удастся продать по возвращении в Париж через Луизу Ивановну, через Гарибальди.

Гастон все одобрил, но таким тоном, точно удивлялся ее глупости: разве можно, мол, было сделать иначе?

Последнее время с ним было раздражительно скучно.

Стали готовиться к отъезду.

Платья и костюмы отобраны и потихоньку унесены из мастерской. Маленькое сердцебиение, но в общем все сошло гладко.

– Если бы у меня не было такое слабое сердце, мне жилось бы проще.

Прибежала в последний раз Фифиса. Гастон всегда уходил, когда ожидался визит маникюрши. Наташа ценила это как деликатность.

Фифиса, конечно, затарантила, и, конечно, больше всего о Любаше.

– Наша-то баронесса какого ерша себе подцепила! Итальянец, маркиз, мужчина, как говорится, во всю щеку, и молодой, и богатый. Глазища черные, круглые, ровно деревенское колесо, морда желтая, что брюква – а хорош! И всюду свои портреты развесил. Как в переднюю войдешь – огромный, во весь рост, и в шляпе. Улыбается. И в салоне портрет во фраке, и в столовой портрет – сидит на каком-то не то памятнике, не то черт его знает и яблоки кушает. Это, значит, для столовой. Пошла в ванную руки мыть – и там он. В трико на морском песочке. Я уж даже посмеялась баронессе: чего уж так больно много? А она говорит – это он все сам и приколачивал, сам и развешивал. Такой, значит, уж любитель. Жаль – не все углы обошла, а то бы – хю-хю-хю!.. Ох, грехи! Ей-богу, обхохочешься.

– Ну что же, она довольна? – спросила Наташа и подумала: «Может быть, такая-то жизнь и проще, и приятнее...»

– Очень даже довольна. Новый рояль получила, и вместе, говорит, романсы поют. Тот-то ведь, американец с червем, совсем уж Квазиморда был. А тут она мне с улыбкой на ушко шепотком (она ведь знает, что я никому...): «Он мне, – говорит, – нравится». Ну что ж, это хорошо. И человек богатый, и нравится. А то у нашей сестры все больше так, что, как понравится, так, значит, деньги и вытащил...

\* \* \*

Выехали в Берлин как-то безрадостно. Гастон был рассеян, отвечал невпопад. Наташа, усталая и грустная, закрывала глаза и молчала. И даже думать ни о чем не могла. Душа ее свои глаза закрыла тоже.



В Берлине пробыли только сутки. Гастон ушел, едва успев переодеться, и вернулся только к утру.

– Мы сегодня же уедем, – сказал он Наташе. – Поедем в Варнемюнде. Это, говорят, очень хорошенький немецкий пляж. Посидим там дней десять, мне за это время пришлют деньги, и мы сможем поехать в Остенде или Довиль. Хорошо?

Наташа устало согласилась.

## 17

*Heirate mich und sei mein Weib,  
Otilie,  
Damit ich fromm wie du und  
glücklich sei!*

*Н. Heine<sup>46</sup>*

*Грех велик христианское имя!  
Нареши такой поганой твари.*

*А. Пушкин.*

*Песни Западных славян*

Варнемюнде.

Маленький отельчик.

На пляже немцы с детьми, целыми семьями.

Огромные тростниковые кабинки с мешками, с карманами, из которых торчат кастрюльки, детское белье и жирные куски свинятины и гусятины в промасленных бумажках.

Фатер лежит, муттер сидит, дети бегают и ползают – в зависимости от возраста.

У фатера газета и сигара.

У муттер – вязанье.

У детей – лопатки.

Окапывают глубокими канавами свою кабинку, окружают высоким валом из песка, чтобы вечерний прилив не замочил песок под их жилищем.

Какое множество детей! Белые, толстые, сытые. Многие из них послужат потом этим белым сытым мясом будущему благополучию своей родины...

Море голубовато-серое, цвета копенгагенского фарфора... Чайки...

В маленьком отельчике чисто и некрасиво. Пахнет рыбой и салом от всего: от тарелок, от постельного белья и от шерстяных цветов, натканных в бездарные вазочки, украшающие столы.

В холле за бюро – кассирша. Физиономия ее напоминает яйцо, повернутое острым концом кверху. В самом центре – рот. Наверху в узком конце яйца кое-как помещаются маленькие глазки, украшенные собачьими бровями, лоб со взбитыми кудельками и круглый носик. Нижняя часть яйца, огромная и пустая, расплывается и лежит прямо на плечах без малейшего признака шеи, подпертая спереди круглой брошкой с портретом племянника.

Плотно стянутое, твердое, как пробка, туловище и такие коротенькие ножки, что никогда не угадаешь – сидит она за своей конторкой или уже встала. Щеки у нее малиновые с жилками, углы рта сиреневого оттенка.

Рот улыбается редко, но и без улыбки видны чередующиеся зеленые и золотые зубы разной длины.

Фрау Фрош – зовут эту даму.

Наташу она невлюбила с первого взгляда, но Гастон ее очаровал. Впрочем, вероятно, оттого она и невлюбила Наташу, что Гастон ее очаровал.

Фрау Фрош было не больше сорока пяти лет...

---

<sup>46</sup> Женюсь, и станет моя жена, Оттилия, набожна, как ты, и счастлива. Г. Гейне (нем.)

Гастон явно кокетничал с ней. Проходя мимо бюро, снимал шляпу несколько раз, улыбался своей смущенной улыбкой, и ямочки дрожали в уголках рта. Иногда Наташа заставляла его в грациозной позе, опирающегося об ее конторку и что-то воркующего.

В бюро стояло разбитое пианино. Он часто присаживался около него и, тихо аккомпанируя, напевал какую-то немецкую песенку:

Du kannst mich wohl verlassen  
Vergessen kannst du mich nie...<sup>47</sup>

И уж, конечно, знаменитое:

Ich kusse ihre Hand, Madame!<sup>48</sup>

Лицо фрау Фрош покрывалось от волнения куриным салом и красными пятнами.

– Я удивляюсь, Госс, – говорила Наташа, – какое тебе удовольствие волновать эту жабу? Неужели не противно?

Гастон смеялся:

– Глупенькая, ты представить себе не можешь, до чего это смешно! Она воображает, что нравится мне, и даже сказала, что ревнует меня к тебе. Ха-ха-ха! Я думаю, если ее поцеловать крепко в правую щеку, так с левой стороны выскочат все зубы! И подумай только, ведь ее зовут Оттилия! Оттилия! Ха-ха-ха! Я ее теперь так и называю.

Наташа пожимала плечами, но вся эта комедия была ей безгранично противна. Противны были ревнивые взгляды кассирши и противно улыбающееся лицо Гастона, когда он, прищуря глаза, напевал чувственным хриплым говорком:

Vergessen kannst du mich nie.

И скучно было.

Публика серенькая, одеваться для нее не стоило.

Семейные немцы.

Скучное, некрасивое море...

Чайки...

---

<sup>47</sup> Ты можешь его покинуть, но не сможешь его забыть... (нем.)

<sup>48</sup> Я целую вашу руку, мадам! (нем., фр.)

## 18

*...Je nage a fleur des eaux...  
Je plonge... La bête fond sur moi,  
la bête... Non, c'est son ombre...*

**Paul Fort**<sup>49</sup>

*...Langoisse réelle doit être  
considérée comme une manifesta—  
tion des instincts de conservati—  
on de moi.*

**Freud**<sup>50</sup>

Гастон часто посылал ее на почту спрашивать письма до востребования, и все на разные буквы, которые он записывал на бумажке и никогда не забывал отобрать от нее эту бумажку и разорвать на мелкие кусочки.

Письма приходили редко. Он их уничтожал тщательно – уходил на пляж, делал в песке ямку и сжигал.

Скучал он, по-видимому, отчаянно, и если не кокетничал с фрау Фрош, то уныло и раздраженно молчал.

Раз как-то сказал Наташе:

– Следовало бы сыграть штуку с этой старой дурой. Я буду ей петь песенки и подзову ее к роялю, а ты подсматривай из-за портьеры, и когда я возьму ее за руки и поверну спиной к кассе – у нее касса всегда открыта, тебе достаточно только протянуть руку, чтобы схватить пачку кредиток... они перетянуты резиночкой – там тысячи две марок...

– Ты с ума сошел! – холодно сказала Наташа. – Мы еще начнем деньги таскать, того не хватало.

Но она и не удивилась, и не рассердилась. Она даже обрадовалась, потому что наконец поняла игру Гастона с кассиршей. То раздражение, почти ревность, которое она испытывала, видя его все время с фрау Фрош, угнетало ее и беспокоило, и унижительно. Теперь все стало ясно.

– Я был уверен, что ты и на это неспособна, – сказал Гастон. – Это была шутка с моей стороны. Но ты и шутить не умеешь. Ты олицетворенная хандра. С тобой очень тяжело.

Наташа испугалась его слов, не знала, что сказать, не умела повернуть в шутку ответ и не смела заговорить серьезно.

Он встал и искусственно спокойной походкой вышел из комнаты. Тогда она вскочила и стала прислушиваться – не пошел ли он к кассирше, но тут же увидела его через окно. Он шел с папироской в зубах по направлению к купальням.

Вечером они оба делали вид, что забыли размолвку.

Он, впрочем, кажется, искренне забыл.

– Здесь есть один довольно приличный отель «Павильон», – сказал он. – Я сегодня зашел туда посмотреть публику. Много иностранцев... Пойдем туда обедать. Может, заведем какое-нибудь интересное знакомство.

На другое утро план несколько изменился: пойдет обедать Наташа одна. Так с ней скорее заговорят. Потом, если дело того стоит, она представит Гастона как случайного знакомого.

---

<sup>49</sup> Я плыву к цветку вод Я погружаюсь... Зверь кидается на меня... Нет, это только его тень. П. Фор (фр.)

<sup>50</sup> Настоящее тревожное состояние должно рассматриваться как проявление инстинктов самосохранения. З. Фрейд (фр.)

Одеться Наташа должна элегантно, но не вызывающе. Должна быть дамой из хорошего общества.

Гастон оживился, разрабатывая план, как очаровать богатого американца и занять у него денег, был так мил и ласков, что Наташе захотелось отнестись ко всей этой затее как к забаве. Действительно, кончится тем, что она своим вечно нудным настроением окончательно расхолодит Гастона.

Вечером он сам выбрал, какое Наташе надеть платье, оглядел с ног до головы и зааплодировал:

– Прелесть!

Суетился, смеялся.

Проходя мимо бюро, Наташа надменно улыбнулась на негодующий взгляд кассирши.

Гастон вышел вместе с ней, но шел по другой стороне улицы, лукаво и весело на нее поглядывая.

Наташа шла своей манекенной походкой. Ей вся эта затея начинала казаться действительно забавной шуткой. Правда, шуткой не высокого тона, да, в конце концов, не она ее выбрала, как и всю эту свою жизнь. Сейчас весело – слава богу.

Публика оказалась не очень интересной. За одним столиком обедали на террасе под оркестр три деловых немца, горячо говорили, тыкая пальцами в какой-то контракт. За другим – пожилая чета северного типа, шведы или датчане. Но за соседним столиком, прямо лицом к Наташе, сидел солидный господин, до смешного похожий на гигантскую рыбу. В профиль лицо его представляло правильный отрезок круга: очень покатый лоб, слегка расплющенный и потому ровно продолжающий покатую линию лба нос, той же линией загибающаяся верхняя губа, и все заканчивалось ртом, потому что подбородка почти не было, он как-то вливался в воротник, и кончено. Брови чуть намечались удивленной желтоватой полоской. Стекла пенсне, такие толстые, что казались кусками льда, прикрывали глаза. Стекла какой-то особенной гранки: при повороте вдруг показывался огромный круглый серо-голубой глаз с желтым ободком. Потом снова ледяной блеск, и глаза не видно.

Общий облик этого господина был вполне джентльменский, и, судя по тому, как почтительно извивался перед ним метрдотель, он был, вероятно, клиентом богатым. Из серебряного ведерка на его столе торчало золотое горлышко шампанского.

«Как раз то, что нужно», – подумала Наташа и спустила грациозно манекенным движением мантию с правого плеча.

Смотрит он на нее или нет?

Из-за этих стекол ничего не поймешь. Но раз ей показалось, что он, вливая в свой рыбий рот бокал шампанского, смотрел на нее и, ставя бокал на место, чуть-чуть наклонился.

Наташа ответила легкой улыбкой, повернулась в профиль и подняла глаза к небу.

Вечер был тихий – прелестные облака над морем, розовые: перистые, как опавшие крылья ангелов, горели сладостно и безбольно.

«Отчего я так редко смотрела на небо? – подумала Наташа. – Надо будет как-нибудь показать такое небо Гастону. Поймет ли он?»

Гастон уже повидал всех здешних куаферов и маникюрш и даже разыскал, несмотря на безвкусию местных магазинов, красивый летний галстук, но неба еще не видел ни разу...

Она глубоко задумалась и сидела меланхолично-нежная, розовая в сиянии вечера.

Джентльмен-рыба встал и долго стоял, уставя на нее толстые льдины своего пенсне. Когда она наконец повернула голову, он низко ей поклонился и вышел.

Гастон остался доволен первым опытом.

Он подждал Наташу на дороге, и они вместе весело дошли домой; веселился, собственно говоря, один Гастон. Душа Наташи осталась разнеженной сладкой печалью вечернего неба.

Утром пошли купаться, вернее, искать джентльмена-рыбу на пляже. Искала Наташа. Гастон следил издали, да он и не мог помочь, потому что не знал того в лицо.

Наташа искала долго и, как часто бывает, нашла, уже потеряв всякую надежду найти. В том месте пляжа, где сосредоточены были всякие приспособления для прыжков и ныряния, собралась целая толпа купальщиков, кричала, визжала и аплодировала.

Наташа подошла и сразу увидела, что центром внимания был ее вчерашний незнакомец.

В сером купальном трико и сером же каучуковом шлеме он еще больше был похож на рыбу, а фигура с большим длинным животом и короткими ногами была уж совсем какая-то лосось.

Он был героем пляжа, потому что проделывал самые невероятные штуки. Плыл под водой минут по десять, нырял и выплывал так далеко, что никто не хотел верить, что это он там выкинул руку и приветствует зрителей.

Все, особенно мальчишки, были в восторге.

– Вы не знаете, кто это такой? – спросила Наташа.

– Не знаем, – отвечали ей, – кажется, какой-то голландец.

– Наверное, профессиональный пловец, – догадывался кто-то.

Наконец герой вышел на берег, полежал минутку на песке, повернулся и, увидев Наташу, сейчас же вскочил и жестом пригласил ее поплавать.

Жест был такой: он слегка склонился и вытянул обе руки вбок по направлению к морю. Все было вполне естественно и просто, но Наташе стало от этого приглашения, от этих вытянутых к морю рук как-то тоскливо и жутко. Она неохотно подошла. Обернувшись, увидела улыбающееся лицо Гастона и прыгнула в воду.

Джентльмен-рыба был уже в воде, плыл вперед и все делал пригласительные жесты. Потом вдруг исчез.

Наташа сейчас же повернула к берегу. Ей почему-то показалось, что он схватит ее за ноги и утопит.

Но джентльмен неожиданно вынырнул перед самым ее носом, когда она уже почти доплыла до берега, и снова сделал пригласительный жест, увлекая ее в море.

Но она вышла на берег и легла на песок.

Сердце у нее часто и неровно колотилось.

«Мне вредно купаться», – подумала она.

Но Гастону о сердце не рассказало.

«Он подумает, что я уже совсем старая и больная».

На другой день она принесла Гастону с *poste restante*<sup>51</sup> толстое письмо, очень его обрадовавшее. В письме было триста марок.

Он стал реже беседовать с кассиршей и, казалось, весь ушел в забаву с джентльменом-рыбой.

Знакомство с ним шло не очень-то быстрыми шагами. Он ни на одном языке, кроме голландского, не говорил.

Гастон навел справки. Ему сказали, что это богатейший промышленник. Дело было подходящее.

Вечером, в день совместного купанья, Наташа нашла около своего прибора букет роз.

– От кого это? – спросила она у метрдотеля.

– Хер ван Фиск, – отвечал тот, слегка улыбнувшись, и почтительно указал всем телом в сторону голландца.

Тот приподнялся и поклонился.

На следующий день купались снова вместе.

---

<sup>51</sup> До востребования (*фр.*).

И снова у Наташи болело сердце от усталости, от отвращения и страха.

## 19

*J'aime ton coeur inhumain,  
Tu me trahiras demain,  
Mot, ce soir...*  
*Stances a Manon*<sup>52</sup>

Чтобы скорее двинуть дело, было решено, что Наташа будет иногда ходить завтракать в отель «Pavilion».

– Деньги пока что есть, – смеялся Гастон. – Я субсидирую предприятие.

За завтраком голландец послал ей бокал шампанского.

В тот же день она принесла Гастону с почты письмо с французской маркой.

Он был дома.

Письмо было недлинное, но он читал его без конца, медленно переворачивая. Думал о чем-то и снова читал.

Наташа из деликатности обыкновенно отходила в сторону, когда он распечатывал свои письма, но теперь, удивленная, что он так притих, она взглянула на него:

– Мальчик! Что с тобой?

Эта серая землистая маска безнадежного отчаяния так не годилась для его пухловатого детского лица, что, сама по себе страшная, она пугала еще больше от этого несоответствия.

Он весь был придавлен. Он даже согнулся...

Она бросилась к нему, хотела его обнять, но как-то не посмела. Что-то такое огромное, совсем чужое, совсем неведомое наложило на него сейчас свою руку... И просто, по-прежнему, уже нельзя было подойти к нему.

Он медленно, глядя куда-то мимо Наташи, стал рвать письмо на мелкие кусочки, собрал лоскутки в конверт, сунул в карман и встал. Наташа заметила, что один крошечный обрывок упал на пол. С отчаянно забившимся сердцем, точно сознательно совершая гнусное преступление, она наступила ногой на этот обрывок.

Знать! Знать! Знать!

Он медленно пошел к двери, тихо, точно с трудом, открыл ее и вышел.

Наташа застыла, крепко, до судороги нажимая носком башмака на обрывок письма.

Вот он прошел мимо окна... Ушел на пляж сжигать свою тайну.

Наташа подняла бумажку. Руки так дрожали, что трудно было разобрать буквы.

На одной стороне лоскутка стояло: «...le l'aime...» И пониже – слово «jeune»<sup>53</sup>.

С другой стороны – «...fini, mon vieux»<sup>54</sup>... и пониже – «faut renon...»

Наташа закрыла глаза.

Письмо было не деловое...

Что такое «...le l'aime»? Крошечная черточка, отходящая от первого «l» влево, по-видимому, соединяла его с другой буквой в одно слово...

И вдруг – совершенно ясно, ясно до радости, до ужаса: это «le» – вторая половина слова «elle». «Elle l'aime». «Она его любит». И потом, очевидно, в следующей фразе, «jeune». А на оборотной стороне, по-видимому, уже умозаключение и советы писавшего. Потому что что другое могут значить слова: «faut renon...», как не «faut renoncer»? – «Надо отказаться».

---

<sup>52</sup> Я люблю твое бесчеловечное сердце, ты меня предашь завтра, я тебя – сегодня вечером... *Стансы для Манон (фр.)*

<sup>53</sup> Молодой (фр.).

<sup>54</sup> Конец, дружище (фр.).



Наташа так и застыла с этим лоскутком в руках. И если бы Гастон сейчас вернулся – она все равно не разжала бы руки, не спрятала бы этот драгоценный документ.

«Что это значит? Кто «она»? Она любит молодого... надо отказаться...» И вдруг мысль хитрая, неприкрашенно лживая:

«А может быть, это все-таки деловое письмо? Может быть, было затеяно какое-нибудь темное дельце, от которого надо отказаться. А слова «она его любит» тоже касаются какого-нибудь жулика, которому доверяет намеченная к облапошению богатая американка. Ничего в этом невозможного нет. Ровно ничего».

И вдруг... душа вскрикнула:

«Так отчего же это так убило его? Нет, это не то, не то. Как он согнулся, сломился весь... Нет! Удар был нанесен в сердце».

Ей стало страшно. Где он? Бедный, заблудившийся мальчик! Он сидит один на берегу. Он все равно не даст подойти к себе, но пусть видит, что она и в этом позорном для нее горе (от другой женщины идет оно!) с ним.

Она скрутила бумажку, засунула ее в палец перчатки и бросилась за Гастоном.

Но, выйдя в холл, остановилась пораженная: он уже вернулся, стоял, опершись локтем о бюро и, нагнувшись к самому лицу кассирши, шептал ей что-то. Он держал ее за руку, и немка, обернувшись на стук Наташиных каблуков, вдруг страшно смутилась и отдернула руку. Прежде она никогда не смущалась так, почти до испуга.

– Ты на пляж? – спокойно спросил Гастон. – Иди, иди, я сейчас приду тоже.

Она пошла на пляж. Но он не пришел.

## 20

*Злодей тут усмехался  
И расправлял усы,  
Надел свои перчатки  
И смотрит на часы...*

### *Старинный романс*

Вечером Гастон сказал ей, что ему придется ненадолго уехать:

– В Копенгаген.

– В Копенгаген?

Это слово было ей приятно. Она боялась услышать «Париж».

– Очень ненадолго. И на этот раз я рассчитываю на полную удачу, так что можно будет сразу же ехать в какое-нибудь шикарное место. Лето кончается – надо торопиться.

– А я не могла бы поехать с тобой?

– Вот уж не стоит. Я буду бешено занят, и со мной будут разные дельцы, с которыми мне не хочется тебя знакомить.

Наташа смотрела на его неестественно бледное, постаревшее и подурневшее лицо и с удивлением думала: отчего же он не плачет?

Ей казалось, что он в минуты горя непременно должен плакать. Впрочем, ведь уже один раз плакал, тогда... в тот вечер. Может быть, действительно у него деловые неприятности?..

– А ты за это время займись как следует твоим голландцем. Чтобы к моему возвращению он был влюблен как тигр! – шутил Гастон и улыбался мертвыми губами.

– Когда же ты думаешь ехать?

– Завтра.

Послали за бельем к прачке, купили на дорогу клетчатую кепку, пошли купаться. Но Гастон не смог войти в воду.

– Мне холодно, – сказал он.

Он был как больной. Вечером он сказал Наташе:

– Я рассчитываю вернуться дней через шесть. Но если и придется задержаться немножко – ты не беспокойся.

И знай, что я заплатил за комнату вперед за две недели.

Наташа не почувствовала благодарности за его милую заботу. Она почувствовала только тревогу от слов «две недели». Значит, может случиться, что разлука растянется на две недели.

– Ты хочешь, чтобы я писала тебе?

– Ну конечно. Пиши до востребования на буквы Л. Д.

– Л. Д.?

– Да, да. Л. Д. Я тоже буду писать.

Вечером Наташа отказалась идти в ресторан «на работу». Побродили по берегу.

Вечер был неизъяснимо тоскливый. Маяк бросал таинственные сигналы кому-то в далекие туманы. Два коротких луча, один долгий. И опять – два коротких, один долгий. Настойчиво, упорно. И не ждал ответа...

– Значит, ты будешь писать мне? – снова спрашивала Наташа.

В береговом кафе играл оркестр. Колыхались несколько пар.

Гастон и Наташа, не сговариваясь, пошли на свет и музыку.

Сели за столик.

– Хочешь? – спросил Гастон и привстал. Он звал ее танцевать.

Немного удивленная, она положила руку ему на плечо.

«Как он изумительно танцует! Точно профессионал», – вспомнила она свое первое впечатление.

Лицо у него было очень бледное, как, впрочем, и весь этот день, с той минуты, как он прочел письмо. Глаза полузакрыты, губы чуть-чуть шевелились, точно он говорил что-то.

«Он не со мной танцует, не со мной, не со мной!»

Наташа улыбалась и двигалась как автомат.

«Как все это странно! – думала она. – Почему я не могу спросить у него, о ком он думает? Он, конечно, не ответит, но с моей стороны гораздо естественнее спросить, чем делать вид, что считаю все благополучным и верю ему. Точно меня нанял кто-то роль разыгрывать».

Ночью она не спала.

Под утро увидела мутное море и джентльмена-рыбу, который, вытянув обе руки вбок и почтительно склонив свою плоскую голову, делал пригласительный жест.

Русские мальчики приплясывали на берегу и поддразнивали Наташу, напевая:

Полюбила рыбу-судачину,  
Принимала рыбу за мужчину.

И, проснувшись, она все еще как будто слышала их голоса и смех.

Сон дурацкий и, пожалуй, даже веселый, а потянувшись от него тоска, как туман, на все утро.

Гастон быстро уложил вещи, отвез их на вокзал и, вернувшись снова, долго шептался с кассиршей.

«Не обокрал бы он ее на прощанье», – спокойно подумала Наташа.

Такая мутная боль наполняла всю ее душу, что эта безобразная мысль была даже приятна. Ведь это было нечто простое, бытовое, реальное. Люди живут во всякой жизни. Счастливые в хорошей, несчастные – в дурной. Но в подозрениях, догадках, трепетах и снах, когда они составляют весь быт и уклад, жить нельзя.

Гастон предложил позавтракать в каком-нибудь ресторанчике, а потом он один пойдет на пристань. Наташа не должна его провожать. Он этого не любит.

– Хорошо, – покорно согласилась Наташа. – Я буду с пляжа смотреть на твой пароход.

Завтрак прошел напряженно и скучно. Гастон был рассеян. Наташа все складывала в уме разные фразы, которые произнести не решалась.

Наконец она сама сказала:

– Надо торопиться, мальчик, ты опоздаешь.

Тогда он встал, поцеловал ей руку, потом, точно вспомнив что-то, поцеловал в губы.

– Ну вот. Я пойду. Не скучай, ведь это ненадолго. Пиши мне в Копенгаген, до востребования, Р. Т.

– Р. Т.? – удивилась Наташа. – Ведь ты вчера сказал, что на Л. Д.!

– Ну да, на Л. Д., – ответил он рассеянно.

И она поняла, что ее письма ему не нужны.

Они вышли вместе.

– Можно мне проводить тебя до угла?

– Хорошо.

На углу он остановился, снова поцеловал ей руку и, сделав приветственный жест, совсем чужой, быстро, не оборачиваясь, пошел вдоль улицы.

## 21

*Elle commençait de savoir que les absents sont toujours raison.*  
**Fr. Mauriac**<sup>55</sup>

Поэты, писатели, психиатры и многие прочие знатоки человеческой души убеждены и других убеждают, что для тяжелого настроения и даже для глубокого горя лучшим средством, утишающим страдания, является природа.

Природа говорит о вечности. А мысль о вечности (так считают эти знатоки) очень приятна для скорбной души. Поэтому, например, принято скучающего миллионера отправлять в далекие путешествия, конечно в сопровождении врача, снабженного термометром и машинкой для измерения давления крови.

Миллионер долгие дни смотрит на беспредельное море и долгие ночи созерцает безначальность и бесконечность небесного свода, и окрашивается его тоска этой жестокой даже для здоровой души ужасающей и неприемлемой вечностью.

Обыкновенно миллионер путешествия своего до конца не доводит. «Обманув бдительность врача», он бросается в море.

Еще считается полезным указать страдающему на то обстоятельство, что и он и его горе в сравнении со страданиями всего человечества – ничтожество и мелочь.

Унизить человека это, конечно, может. Но почему могло бы успокоить?

Или, может быть, раздавливая каблуком таракана, было бы гуманно объяснить ему, что слону в его положении приходится гораздо тяжелее?..

\* \* \*

День был мутный.

Тусклое море дымно сливалось с небом, и долго две серые продолговатые соринки стояли недвижно не то на море, не то на небе. И которая из них была пароходом, увозившим Гастона, Наташа не знала.

Потом она повернулась и пошла домой.

Без Гастона комната стала большой, пустой и странно тихой. Наташа огляделась, точно видела эту комнату в первый раз. Выдвинула ящик стола. Пусто. Там долго валялась его сломанная запонка. Теперь она исчезла.

Наташа быстро оглянула стену у кровати: неделю тому назад она пришила туда портрет Гастона. Фотограф на пляже прищелкнул их вместе «кодаком», когда они выходили из моря. Наташи почти не было видно, но Гастон вышел хорошо. Карточка эта висела еще вчера. Сейчас ее не было.

Впрочем, он ведь всегда исчезал так. Бесследно. И это не мешало ему возвращаться.

Целый день пролежала Наташа в постели, почти не меняя позы.

«Он был во всем прав, – думала она. – Нужно удивляться, что он меня не бросил. А он не бросил, потому что даже заплатил из своих денег вперед за комнату. Это мило, это нежно и деликатно. Но ему скучна жизнь со мной. Он – это ясно – искатель приключений. Он звал меня с собой в свою интересную, пеструю жизнь. И так осторожно звал, ни к чему не принуждал... Я мокрая курица. Кислятина. Русская растяпа. Размазня... Как он оживился, когда я согласилась покурить с этим рыбым голландцем! И чего, в сущности, я хочу? Чтобы Гастон поступил на

---

<sup>55</sup> Она начала понимать, что отсутствующие всегда правы. *Фр. Мориак (фр.)*

место, скажем, рассыльного у Манель?.. На тысячу франков жалованья? Стал бы маленьким приказчиком?.. Какая ерунда!»

И она представила себе жизнь, ту, на которую Гастон звал ее. Уголовный фильм, авантюрный роман. Она его спасает... ночью подплывает на лодке... они ползут по крыше... она его, раненного, мчит в автомобиле... Они танцуют на пышном балу, все любят ее, и он гордится... А под утро она подает сигнал... Добыча – два миллиона. Переодетые странствующими музыкантами, они переходят границу...

Она так и пролежала до утра, не раздеваясь, сжавшись комком, в снах, полуснах.

Утром встала рано и пошла, но не к морю, только не к морю, не к безднам, не к ангельски розовым зорям. Нет, инстинкт еще вел ее к жизни, и она пошла бродить по улицам курортного городка, смотреть на витрины магазинов, разглядывать ерунду: бусы из горного хрусталя, перстенечки из кровавика, сережки из какого-то мутного камня, неделикатно положенные рядом с огромной подставкой под чернильницу из того же материала, что явно свидетельствовало о его нередкости и недрагоценности.

Рассматривала вязаные кофточки, купальные костюмы и шапочки, все грубое и некрасивое и, на ее изысканный вкус парижского манекена, даже смешное...

В ресторан «Pavilion» ей идти не хотелось. Она чувствовала себя усталой и увядшей. Надо сначала хорошенько отдохнуть.

Гастон вернется в худшем случае через две недели, потому что заплатил за две недели вперед. Ну а за эти две недели голландец будет уже привязан на веревочку. Только сначала надо отдохнуть.

Вернувшись домой, увидела подsunутое под дверь письмо. Сердце так стукнуло, что она не сразу нагнулась поднять.

Но конверт был запечатан и заключал в себе просто отельный счет.

– Это они для порядка. Немецкая аккуратность.

Проходя мимо конторки, старалась не глядеть на фрау Фрош. Но чувствовала на своей спине ее острые злые глаза. Жаль, что здесь заплачено вперед, а то она могла бы переехать в другой отель. Но с другой стороны, эта жаба Оттилия, наверное, скрыла бы ее адрес от Гастона.

Прошел день. Прошли дни.

Она ходила на почту. Спрашивала письма на свои буквы и на свое имя.

Чиновник перебирал нетолстую пачку.

Она уже знала это синее письмо, которое никто не требует, повестку, газету, бандероль...

– Nichts<sup>56</sup>.

Как-то, подходя к почте, увидела фрау Фрош. Она как раз выходила оттуда. Шла с пустыми руками, растерянная, и Наташу не заметила, хотя встретились они нос к носу. Наташа была поражена выражением ее лица. Это было такое тупое, бессмысленное отчаяние, которое, переводя на звук, можно было бы сравнить с ослиным криком. Выражение лица фрау Фрош было отчаянное, как ослиный крик.

Она быстро, неровной походкой пошла по направлению к отелю.

– Ждет писем от Гастона! – злобно засмеялась Наташа.

Ей стало противно, что вот она так же, как эта жаба, идет на почту и так же, как она, письма не получит. Может быть, и у нее самой такое же выражение лица?

Она посмотрела вслед фрау Фрош. Первый раз видела она ее на улице. Ввинченная в плечи голова, коротенькие ножки, тугое, словно из пробки, несгибающееся туловище, обтянутое бурой вязаной кофточкой... Бежит на службу...

– Жалкая!

---

<sup>56</sup> Ничего (нем.).

Но Наташе не хотелось позволять себе пожалеть кассиршу. В этой жалости чувствовалась какая-то для нее самой опасность...

Проходя мимо бюро, она нарочно смотрела в сторону. Но фрау Фрош сама окликнула ее.

– Вам уже два раза подавали счет, – сказала она. – Будьте любезны уплатить, наш отель кредита не делает.

И она, торжественно подняв коротенькую ручку, указала на соответствующий плакат на стене.

Наташа удивленно подняла брови.

– Позвольте, – сказала она холодно. – Но ведь мосье Люкэ, уезжая в Копенгаген, заплатил за две недели вперед, а прошло только шесть дней со времени его отъезда.

Наташа теперь близко видела лицо кассирши. Как оно изменилось! Толстые щеки как-то гнусно отмякли и обвисли, как коровье вымя. Портрет племянника переехал к левому уху. Значит, ворот стал широк и она перетягивала его. И Наташа с омерзением поняла, что Фрош похудела...

– Уплатил за две недели? – злобно переспросила кассирша. – У вас в таком случае должны быть наши расписки. Будьте любезны показать.

Теперь рот ее растянулся и выпустил ряд золотых и зеленых зубов разной величины.

– У меня нет расписок... Он, очевидно, забыл их передать мне!.. или просто верил в вашу порядочность. Он на днях вернется из Копенгагена, и все выяснится.

– Х-ха! – сказала Фрош. Не засмеялась, а именно только сказала. – Х-ха! Почему он вернется из Копенгагена?

Наташа смотрела с недоумением.

– Почему он вернется из Копенгагена? – повторила Фрош. – Когда он вовсе не туда поехал. Наш слуга был на вокзале и слышал, как он покупал билет Гамбург – Париж. И видел, как он сел в гамбургский поезд. Ловко он вас надул.

Она помолчала, с любопытством рассматривая Наташино лицо.

– А какое вам дело до того, где он находится? – спросила Наташа.

– А какое мне дело? – задохнулась Фрош, и щеки у нее задрожали. – Если мне нет дела, то вы, очевидно, берете на себя уплатить мне пятьсот марок, которые ваш друг взял у меня взаимнообразно, – расписка у меня есть!

– Ах, вот что вас волнует! – презрительно сказала Наташа, точно кассирше следовало волноваться какими-то другими высшими мотивами.

– За комнату я, конечно, заплачу, – продолжала она все с тем же презрением. – А вопрос о своем долге он, конечно, урегулирует, когда вернется. Можете успокоиться.

И она с достоинством вышла.

## 22

*La souffrance, prolongement  
d'un choc moral impose, aspiré à changer de forme.*  
**Marcel Proust**<sup>57</sup>

Есть души, для которых слезы как увеличительные стекла: мир, видимый ими через эти стекла, всегда огромен и ужасающ в своем безобразии.

Те мелкие детали, которые обычному взору представляются почти украшением, потеряв свои нормальные размеры, давят и пугают. Кто видел под микроскопом очаровательнейшее создание божие, символ красоты земной – бабочку, тот никогда не забудет ее кошмарно-зловещей хари. Пленкой «маловиденья» преобразен для нас мир чудовищ.

Завыли по ночам сирены. Безнадежно и жутко. Предупреждали кого-то в далеких морях, а тот или не слышал, или не понимал, потому что вой возобновлялся еще и снова и, казалось, уже не предупреждал, а оплакивал.

Безнадежно!

И маяк настойчиво бросал свои лучи – два коротких, один долгий, настойчиво, хотя уже было ясно, что никому он не нужен и никого не спасет.

Но откровеннее и наглее и сирен, и маяка рассказал обо всем страшный ночной сигнал – три красных фонаря, поднятых на береговую мачту. Она увидела их, выйдя из кинематографа, куда забрела случайно. Жиденькое желтое освещение в подъезде этого кинематографа держалось близко, дальше входных ступенек не разливалось. Дальше был черный провал не вниз, а во все небо и во всю землю, во всю безмерность пространства. Черный провал. И над ним высоко по вертикальной линии три красных фонаря.

– Будет шторм, – сказал кто-то.

Но никому это пояснение не было нужно. Ужас не в том, что будет шторм. Ужас в черном провале и висящих над ним, как бы осеняющих его или воплем кричащих красных огнях...

Никакое логическое рассуждение не расскажет человеку так безысходно явно все о нем самом, как вот такие огни.

– Да, – сказала Наташа. Это значило, что она поняла.

Она одна на свете, в одиночестве позорном, потому что брошена и потому что не сама это одиночество избрала.

И раньше, и всегда была она одна. Никому не нужная, не интересная. Манекен для примерки чужих платьев.

Жизнь ни разу не коснулась ее. Война, революция – все прошло мимо. Все отозвалось только как холод, голод и страх.

Пришла любовь и дала душе ее тоже только холод, голод и страх. И в любви этой была она одна. Одинока.

Гадалка предсказала, что она поплывет на родину. На родине чудеса и Христос приходит на зов... Только ведь она, пожалуй, и там будет лишняя и чудес не узнает. Слышать о них будет, а сама ничего не познает. Душа у нее скучная...

Прижалась она сейчас к этому подъезду кинематографа, расцветченному уродливыми разляпанными плакатами. Стоит в его жиденьком желтом свете... Но вот уж и он гаснет. А дальше – то, черное, глубокое, безмерное...

---

<sup>57</sup> Долгие страдания ведут к изменению сущности. М. Пруст (фр.)

Потом начались сны. Сны несчастных всегда удивительны и всегда много страшней жизни.

Бодрствующий разум так преданно «подхалимно» служит человеку, подправляет, успокаивает, подвирает где нужно, не верит, когда можно.

Спящий оставлен без этой верной охраны. И к нему, беззащитному, подкрадываются темные ползучие ужасы, опутывают его как свою добычу и овладевают им. Иногда они так сильны, что разрушают всю дневную работу почтенного разума, и человек перестает верить дню со всеми его прекрасными возможностями и твердой логикой и с пути благоразумия покорно и безвольно соскальзывает на путь безумия.

К Наташе приходили сны почти всегда одни и те же. Она все искала какого-то ребенка, которого унесли и где-то мучают.

Вероятно, в этих сновидениях просто отражалось сокровенное ее любви: нежность и тревога за этого «заблудившегося мальчика». Просыпалась, слышала воющий плач сирены и засыпала, чтобы снова бродить по неведомым лабиринтам, и искать, и не находить...

Но в ту ночь, предшествующую знаменательному дню, увидела она сон, непохожий на обычные.

Увидела она старый деревенский дом, где провела свое детство. Увидела большую столовую этого дома и сидящих вокруг накрытого стола.

Сумерки густые, почти ночь. Но огня почему-то не зажигают. И сидят молча.

И вот видит Наташа высокого плешивого старика, различает его пробритый по старинной моде подбородок. На плечах чуть-чуть поблескивают эполеты.

«Дедушка! Покойный дедушка», – узнает Наташа.

И как узнала его, так сразу узнала и других.

Вот прямая, плоскогрудая, на плечах оренбургский платок – тетя Соня. Тоже давно умершая. И в широком кресле сама широкая, низенькая, вся в оборочках и фальборочках и в рюшках – бабушка.

А рядом дальняя родственница, старушонка Пашенька – когда же она умерла? Ах да, еще до войны...

Наташа не успела всех разглядеть, но заметила, что один прибор пустой, и тут же поняла, что все ждут именно этого гостя, который не приходит, и потому так напряженно и молчат.

И вот дедушка говорит:

– Чего же мы ждем, *ma chere*<sup>58</sup>? Почему не начинаем?

– Маруси еще нет, – прошамкала в ответ бабушка.

«Кто же такая эта Маруся? – подумала во сне Наташа. – Я ведь Маруси совсем не знаю».

– А когда же она прибудет? – снова спрашивает дед.

Наташу страшно волнует слово «прибудет». Это долгое, гулкое «у» – «прибу-у-уудет» – заключает в себе что-то особо страшное. Или это вой сирены вошел в ее сон?..

– ...числа, – отвечает чей-то голос с другого конца стола.

Наташа не поняла цифры. Она слышала, но как-то не поняла и тотчас проснулась. И, проснувшись, мгновенно забыла весь сон. Осталось только какое-то особое тоскливое беспокойство, новое, которого раньше не было.

Уже светало, и она решила больше не спать. Ее знобило, болела нога. Надевая чулки, она заметила, что сустав около большого пальца распух.

– Подагра?

Долго с ужасом рассматривала свою прелестную ногу с подкрашенными лакированными ноготками.

– Надо зайти в аптеку, спросить какую-нибудь мазь.

---

<sup>58</sup> Моя дорогая (*фр.*).



День начался яркий, солнце прыгало по стеклам, быстрое, веселое. Можно было пойти на пляж и просто прогреть как следует больной сустав. Купаться, конечно, нельзя. Она чувствовала себя совсем простуженной.

Веселый день говорил, однако, о том, что надо жить на свете и что-то для этой жизни предпринимать.

За комнату заплачено еще за пять дней. Если ехать через пять дней в Париж, то не хватит даже на билет третьего класса. Добраться до Парижа и там постараться продать кое-что из платьев?

И вдруг вспомнился голландец. Как глупо, что она его так забросила. Надо сегодня же пойти в «Pavilion».

Она надела очаровательное платьице, которое еще ни разу здесь не надевала, зеленое, с вышитыми серебряными и золотыми рыбками, и пошла в парикмахерскую. Нога болела, знобило, но день кричал, что надо жить.

Куафер попался какой-то неладный, подпалил прядь около уха.

Рядом причесывалась миловидная барышня, поворачивала стриженую головку на тонкой шейке, и Наташе вдруг надоели ее упругие локоны.

– Остригите меня, – сказала она.

Куафер радостно защелкал ножницами: четыре раза в воздухе – один в волосах.

«Нехорошо, – думала Наташа. – Очень темное у меня лицо, точно из больницы».

Барышня рядом была рыженькая. Не выкраситься ли?

Куафер очень одобрил эту мысль.

– В бронзовых английских тонах фрейлен будет очень фajn!

Да, вышло хорошо.

Наташа медленно поворачивала перед зеркалом свою позолоченную змеиную головку. Какие огромные глаза! Она с истинным восхищением рассматривала и расчесывала свои ресницы, очерчивала красным карандашом нежный рисунок рта. Радовалась, что видит себя такой красивой и, главное, совсем новой. Ах, как хорошо, что можно сделаться новой!

Она пошла на пляж, глядя на свое отражение во всех окнах.

## 23

*Il n'est guère de drame passionnel, suicide ou crime, dont les causes apparents ne semblent bien légères.*

*Fr. Mauriac*<sup>59</sup>

Несмотря на яркое солнце, день был холодный, ветреный. Поэтому и купальщиков было мало.

Наташа выбрала местечко подальше от публики, сняла башмак и чулок с больной ноги.

Песок был холодный, и ее сразу стало знобить, но она долго пролежала так, усталая, в полудремоте.

Кричали чайки. Мелкими звончками перезванивали детские голоса.

Толстый аббат, с серым мягким лицом старой нянюшки, прошел со своим молодым другом. Наташа уже встречала эту парочку. У старика были сентиментальные голубенькие глазки. Друг его, тоже священник, с плоской сутулой, как вопросительный знак, спиной, с непомерно длинной талией, напоминал фигурой цирковую собаку в юбочке, стоящую на задних лапах. Лицо у него всегда было надменно приподнятое, глаза подчеркнута целомудренно опущены. На шее под затылком – глянцевиные лиловые прыщи.

Старик остановился недалеко от Наташи и долго восторженно говорил о чем-то, указывая на небо и море.

Молодой слушал, не поднимая ресниц, и вдруг исподтишка метнул опущенным глазом на Наташину ногу, быстро, точно стащил и спрятал.

А старик все говорил о небе.

На небе в это время свершалась мистерия: неслись белые воздушно-облачные видения, туда, к горизонту, где залегло темное, неподвижное и неумолимое. Белые видения гасли, таяли, умирали и все-таки не останавливали своего жертвенного стремления...

Наташа заснула без сна, лишь в каком-то тихом звоне, и проснулась внезапно, точно кто позвал ее, и открыла глаза.

Прямо к ней, тяжело и осторожно шагая толстыми голыми ножками, шел крошечный рыжий мальчик. Он смеялся веселыми глазками, и верхняя губка его надулась, словно припухла, и маленькие ямочки дрожали в углах рта.

Глядя на это приближающееся к ней ужасное своим сходством милое личико, Наташа задрожала от отчаяния. Она вытянула руки, словно защищаясь от страшного призрака, и голосом ночных кошмаров, срывным и придушенным, закричала.

– Прочь! Прочь! Не хочу! Прочь!

Испуганный ее криком ребенок остановился, сморщил глаза и нос, и губки его посинели от плача.

А Наташа упала грудью на песок и зарыдала громко, с визгом, вся трясаясь и дергаясь.

Пляж уже начал пустеть – наступало время завтрака, когда она пошла домой.

Распухшая нога болела, и Наташа присела на скамейку берегового бульварчика.

– Она?

– Не может быть...

Голоса были русские.

– Она!

– Наташка – ты?

---

<sup>59</sup> Это вовсе не страстная драма, преступление или самоубийство, видимые причины которых кажутся сложными. *Фр. Мориак (фр.)*

Перед ней загорелые, черные, как арапчата, стояли Шурка и Мурка. Круглые их глаза глядели на нее испуганно.

– Господи! Да что же это с тобой? – ахала Шурка. – Какая ты страшная! Рыжая, зареванная!

– У меня нога болит, – жалко улыбнувшись, ответила Наташа.

– Господи! Она стала рыжая оттого, что у нее нога болит! Ничего не понимаю. Деньги-то у тебя есть?

– Не беда, – прервала Мурка. – Мы здесь танцуем в «Павильоне». Через пять дней получаем деньги и – марш в Париж. Тогда мы вас прихватим с собой...

– Да как тебя сюда занесло? – продолжала удивляться Шурка. – А Манельша тебя по всему Парижу разыскивает.

«Манельша... разыскивает, – пронеслось в голове Наташи. – Ах да! Костюмы...»

– С чего же она взяла, что я... – пробормотала она.

– Именно решила, чтоб тебя, – радостно прервала Шурка, – Брюнето женился на Вэра. Открывают свою мастерскую. Вэра утащила у Манельши все лучшие модели, которые сама показывала и которые ты показывала. Но Манельша не желает подымать никакого скандала и надумала сделать тебя директрисой. Говорит, что ты очень дельная и очень приличная, словом – влюбилась в тебя. А ты тут нюнишь!..

– А Любаша-то бедная! – прервала ее Мурка. – Какой ужас!

– А что? – устало спросила Наташа.

– Как – что? Разве ты не знаешь? Господи, она ничего и не знает! Все газеты только об этом и пишут. Зарезали ее.

– Задушили, а не зарезали. С целью грабежа, – вставила Мурка.

– Не с целью грабежа, – перебила Шурка. – Там как-то иначе по-юридически... С целью симуляции грабежа... Вот как.

– По подозрению арестован Жоржик Бублик – знаешь? Ну, наверное, знаешь.

Обе торопились, перебивая друг друга.

– Настоящая фамилия – Бубелик. Это так прозвали Бублик, а он – Бубелик. Латыш, что ли.

– Не латыш, а латвийский подданный. Это разница. Да вы его, наверное, знаете...

– Все лето таскался за Любашей по всем ресторанам, такой подлец! Стой, Мурка, у тебя же была газета... та, французская... Да посмотри в сумке.

Мурка раскрыла вышитую купальную сумку, набитую всякой балетной требухой.

– Да ведь была же! – волновалась Шурка.

– Постой, а это что?

Мурка выхватила из рук Шурки газетный сверток и, вытащив из него грязные балетные туфли, развернула.

– Ну кто же ее знал, что это та самая, – сконфуженно пролепетала Шурка. – Ну вот... смотри. Это «Matin». Вот «Gueorgui, Georges Bubelik». Вот он... смотри...

Голова... голая шея без воротничка, странно, точно от холода, сжатые плечи...

– Гастон.

Наташа устало смотрела на это лицо. Она была совсем спокойна. Как будто ей снова и снова рассказывают давно ей известную, совершенно для нее постороннюю историю. Только сердце колотилось отчаянно – но оно жило своей жизнью, и это биение его было чисто физическое, потому что душа ее была совершенно спокойна.

Больше всего в настоящий момент интересовало Наташу ее собственное лицо. Ей почему-то казалось, что оно улыбается, и она со страшным усилием сжимала губы.

«Как это странно! Почему я так?»

– Да, да, латвийский подданный, – перебивая друг друга, тараторили Шурка и Мурка. – Латвийский, без определенных занятий. Двадцати двух лет.

И вдруг обе вскинулись:

– А репетиция-то, господи!

– Наташка! Приходи вечером в «Павильон». Или завтра на этом месте в одиннадцать.

– Нет, лучше приходите сегодня! Поболтаем, – говорила Мурка, машинально заворачивая туфли снова в ту же газету.

Наташа осталась одна. Закрыла глаза. И вот опять Шурка перед ней:

– Наташка, ты, может быть, расстроилась? Я сейчас только вспомнила, что он и за тобой бегал. А? Да ты плюнь. Такой мерзавец, он и тебя мог бы. Иди, голубка, отдохни! А я бегу...

\* \* \*

«Значит, так, – думала Наташа. – Он убил Любашу, чтобы ограбить и вернуться ко мне. Тогда его казнят. Или он убил из ревности?»

Она вспомнила обрывок письма. Ведь он сорвался ехать именно после этого письма.

Тогда его оправдают.

Его оправдают, но он – вернется ли он к ней? Он, значит, все время любил баронессу, однако был с ней, с Наташей. Значит, опять вернется к ней.

Но лучше всего, если убил из-за денег и сумеет вывернуться. Нужно, чтобы было так: убил из-за денег, но доказать, что убил из ревности.

Она, Наташа, может ему в этом помочь... Она покажет этот обрывок письма, может приписать что-нибудь.

Это так. Но сейчас важнее всего другое. Важнее всего понять, установить для самой себя: любил ли Гастон баронессу?..

Вспомнился разговор в дождливый день в ресторанчике: «Но если заставить такую женщину полюбить...» Так, кажется, он сказал... «То нет высшего блаженства на свете». Да, да. Он сказал именно так. Но пожалуй, что она-то его и не любила, а он только надеялся и представлял себе это «высшее блаженство».

Что бы там ни было, надо сейчас же ехать в Париж. Откладывать на пять дней невыносимо.

И еще одна возможность: ведь он арестован только по подозрению. Может быть, убил-то и не он?

Но они там будут снимать отпечатки пальцев, увидят его страшные руки.

«Любаша задушена!» – сказала Мурка.

Усталость и скука. Так давно, давно она все это знала, что теперь, узнав в окончательный и последний раз, не чувствует ничего, кроме смертельной усталости и скуки.

Не печаль, не тоска, а вот именно то чувство, когда все то же самое долбит без конца, без конца...

Только вот сердце бьется так, что дышать трудно. Сердце само по себе, по своей воле отмечает что-то последнее и окончательное. Да еще этот странный смех, который растягивает ей губы и с которым она никак не может сладить.

## 24

*La vie n'est qu'une ombre errante... C'est un conte, dit par un idiot, plein de fracas et de furie et qui ne signifie rien.*  
*Shakespeare. Macbeth*<sup>60</sup>

Да. Ждать еще пять дней невыносимо. Надо сейчас же ехать в Париж. И главное, не теряться, ничего не забыть и ничего не перепутать, иначе она погибла. «О том» сейчас думать не надо. Сейчас надо ехать в Париж. Денег нет. А голландец? Немедленно идти в «Павильон». Сейчас время завтрака. Он там.

И она, спеша и спотыкаясь, побежала в ресторан.

Метрдотель не сразу ее узнал – так изменилась она от новой прически, от красных пятен на щеках, от заплаканных глаз – и, не узнав, повел на другую сторону террасы, но она, быстро повернувшись, направилась к своему обычному месту.

В ресторане было пусто. И главное – столик голландца был пуст.

– Где этот господин? – спросила Наташа и сама удивилась, как громко она говорит.

– Ist nicht da<sup>61</sup>, – ответил лакей.

И она сейчас же вскочила со стула, на который уже успела сесть, и бросилась к выходу.

Теперь было уже совершенно ясно, что голландец на пляже. Он, значит, сегодня купается дольше обыкновенного. Надо бежать на пляж, не теряя ни минуты. Тогда она еще сегодня успеет уехать.

На пляже было уже совсем пусто. У самой воды одевалась какая-то личность из тех, что не берут кабинок, а купаются в тихое время прямо с берега. Личность напяливала белье на мокрое трико, и ветер вздувал парусом белую рубаху.

Подальше человек десять мальчишек, громко крича, гонялись друг за другом стаей мелкой рыбешки.

«Это, верно, русские мальчишки из моего сна», – подумала Наташа и озабоченно покачала головой.

«Сны входят в жизнь. Да. Вот уже сны входят в жизнь...»

Она быстро разыскала свою кабинку, разделась и натянула купальный костюм. Трико показалось холодным и сырым, и ее всю затрясло.

«Боже мой, до чего я больна! А ведь сегодня надо ехать...»

Она старалась «главное ничего не забыть и ничего не перепутать». Сейчас нужно было найти голландца и взять у него денег.

Она вышла из кабинки и пошла к тому месту, где они обычно купались, но по дороге споткнулась о вырытую детьми горку, упала на песок, закрыла глаза и точно мгновенно заснула. Может быть, всего на минутку. Но когда очнулась, сразу увидела своего голландца. Он стоял довольно далеко, пожалуй, дальше того места, где они всегда купались, и, очевидно, подстерегал момент, когда она откроет глаза, потому что сразу же сделал свой обычный пригласительный жест, склонив голову и вытянув руки, и тотчас исчез. Очевидно, прыгнул в море...

Наташа вошла в воду. Вода была холодная и странно сильная и упругая. Не пускала к себе. Тяжело ударила в сердце, когда Наташа легла на волну. Но зато потом подняла ее и понесла на себе легко и свободно.

---

<sup>60</sup> Жизнь – только блуждающая тень... Это сказка, рассказанная идиотом, которая полна скандалов и ярости и которая ничего не значит. У. Шекспир. «Макбет» (фр.)

<sup>61</sup> Его нет (нем.).

Голландца не было видно. Но справа гулко плеснуло – значит, он нырнул и сейчас, проплыв под ней, вынырнет слева. Обычная его игра.

Быстро почувствовав усталость, Наташа повернула к берегу.

Берег оказался дальше, чем она предполагала.

«Неужели я так долго плавала?»

Слева мелькнула рука голландца. Наташа повернула на этот знак. Но рука мелькнула снова уже справа, потом совсем далеко впереди блеснули ледяные стекла его пенсне.

«Пожалуй, все это мне кажется».

Но берег уходил все дальше. Это уже не казалось.

«Что же это такое?.. Ведь плыву-то я к берегу...»

Она посмотрела вниз, в мутное зеленое пространство. Увидела свое, сокращенное водой, маленькое, беспомощное тело, нежные, янтарного цвета ножки. И ей стало жаль этого беззащитного существа, судьбу которого она так давно, давно знала...

Она подняла голову. Да. Берег уходит от нее.

«Меня уносит в море, – спокойно подумала она. – Ну что ж... Надо все-таки плыть к берегу».

Справа, довольно близко, показался пароход.

«Если он пройдет между мной и берегом, перережет мне путь и поднимет большую волну – мне не выплыть».

Пароход перерезал ее путь, направляясь к гавани, но волны не поднял, и Наташа поняла, как далеко отнесло ее от берега.

«Должно быть, я утону», – все так же спокойно подумала она.

И тут ей показалось, что нужно непременно что-то сделать такое, что всегда все делают, а она вдруг забыла. Что же это? Ах да – надо помолиться.

– Господи! – сказала она. – Спаси, помилуй и сохрани рабу Твою Нат... Да ведь не Наталья же я! Я Маруся, Мария...

И тут сразу же мгновенно вспомнила свой предутренний сон.

«Маруси еще нет», – шамкала бабушка.

«А когда же она прибу-у-удет?» – спрашивал дед.

Вот оно, это «у-у-у», так испугавшее ее во сне. Это «у-у-у» – это море. И как же она не поняла, что Маруся и есть она. Но теперь уж совсем не страшно. Теперь только смертельная усталость. А что они ждут, так ведь это хорошо. Это очень хорошо, что и ее кто-то где-то ждет.

Но сейчас все-таки надо плыть. Надо доработать свое заказанное, положенное на земле.

Она снова заглянула вниз, в зеленую бездну, снова увидела висящее над ней крошечное свое тело.

И ничего не было на свете. Ни жизни с Гастоном, ни любви к нему, к Госсу, к заблудшему мальчику, ни ужаса последних часов – ни-че-го. Она только спокойно удивлялась, как могло все это быть таким значительным и страшным!

Может быть, она еще и доплывет до берега. Но и это особого значения уже не имело.

И все-таки что-то нужно было. Выполнить какой-то старинный, далекий, вековой завет. Да... перекреститься нужно. Перекреститься. Просто: во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Она подняла руку, и тотчас острая, жгучая боль ударила ее в дыхание, обожгла мозг, зеленым звоном заполнила мир.

И она еще раз дернула головой, ловя воздух.

Шторм продолжался два дня.

Суровый пахарь трудно водил тяжелым своим плугом, резал упругую сине-зеленую почву, и она, вздымаясь, опадала белой пылью в глубокие борозды.

На третий день, когда тело Наташи прибило к берегу, к рыбацкой стороне за купальнями, море было спокойно и вечер, осененный ангельски-розовым крылом неба, – благостно тих.

Нашли тело рыбаки, спустившиеся к берегу выправить сети.

Сынишка одного из них, увидев издали приподнятую головку Наташи, маленькую в облепивших ее коротких волосах, побежал к дому, радостно крича:

– Мальчика поймали! Мальчика поймали!

Этот серебряный детский голосок так чудесно прозвенел в вечернем затихшем воздухе, что стоявший на берегу толстый патер улыбнулся и повернул свое доброе лицо старой нянюшки к молодому другу.

На пляже было почти пусто. Публика, напуганная плохой погодой последних дней, очевидно, разъехалась. Несколько немцев, пожалуй уже из местных жителей, сидели с газетами, подстелив коврики на сырой песок.

– Дело вступило в новую фазу, – сказал один из них, обращаясь к приятелю. – Арестован муж баронессы, дегенерат, почти идиот, живший на средства своей жены. «Со дня убийства, – начал читать немец, – барон ведет себя очень подозрительно. Он непрерывно смеется...»

Патер отвел своего друга подальше. Ему не хотелось, чтобы молодой человек слушал детали этой грязной парижской драмы дегенератов, великосветских кокоток и сутенеров.

Он показал ему розовую даль, обещающую чудесное счастье, и долго говорил о том, что день создан тоже по некоему образу и подобию, потому что рождается, живет и умирает. И что смерть сегодняшнего дня особо прекрасна, тиха и кристальна. Тихость моря, и благодать неба, и даже мирный человеческий труд – вон там несут рыбаки что-то темное, должно быть, улов вечерний, – и серебряный радостный голосок ребенка...

– Чудесна смерть твоя, отходящий день!

И так как был он не только сентиментальный поэт, но и священник, то, подняв руку как бы для благословения, произнес последние слова, обращаемые на земле к отходящему:

«In manus Tuas, Domine»<sup>62</sup>.

---

<sup>62</sup> «В руки Твои, Господи» (лат.).